

Валерий Осипов

АПРЕЛЬ НАЧИНАЕТСЯ В МАРТЕ



Повесть о любви из сборника «Апрель начинается в марте».

- [Валерий Дмитриевич Осипов](#)
 -
-
-

Валерий Дмитриевич Осипов

Серебристый грибной дождь

Повесть



Когда-то знавал я одну девочку, вернее, девушку. Была она похожа на цветок одуванчик, которого еще не коснулся ветер — вся легкая, светловолосая, с большими теплыми глазами и

еще не женской, но уже совсем-совсем не девичьей фигурой.

В нее влюблялись подряд все ребята, которые знакомились с ней.

Бывают такие девушки — есть в них что-то такое, на что никак нельзя не обратить внимания.

Поначалу она была просто приветлива со мной и ничем не выделяла из компании своих обычных поклонников. Но я становился все настойчивее и настойчивее, и она в конце концов стала иногда разрешать мне провожать себя по вечерам домой.

Мы стояли с ней в темном подъезде ее дома, и я часами напролет шепотом рассказывал ей всякие веселые истории. Когда мимо нас проходили ее соседи, я замолкал и вплотную придвигался к ней, чтобы нас не заметили.

Затаив дыхание, мы стояли, прижавшись друг к другу, а соседи дышали мне в затылок и шаркали в темноте ногами, пытаясь найти ступеньки.

Потом соседи уходили, а я все продолжал стоять, прижавшись к ней, а она иногда сразу дотрагивалась до моего пальто своими белыми варежками и отодвигала меня от себя, а иногда делала это не сразу, и некоторое время я дышал запахом ее волос и видел перед собой ее настороженные и любопытные глаза, смотревшие на меня снизу вверх.

Однажды я поцеловал ее. Я стоял так близко от нее, так темно было в подъезде, так далеко от нас был город с его гудками машин и звонками трамваев, и так хорошо и непонятно пахли ее волосы, что я не выдержал и осторожно прикоснулся губами к ее щеке.

Она посмотрела на меня, потом закрыла глаза, опустила руки и вся потянулась ко мне, словно потеряла равновесие и искала опоры.

Я обнял ее, но она положила мне на грудь свои белые варежки, и в ее руках я почувствовал уже знакомый, но на этот раз какой-то мягкий, нерешительный, еле уловимый протест. И было во всем этом что-то новое, неожиданное, требующее разгадки.

Потом еще много-много раз мы стояли с ней в темном подъезде ее дома, и я уже больше не рассказывал ей веселых историй. Мы просто стояли рядом друг с другом и молча ждали того часа, когда закрывалась находящаяся неподалеку станция метро и последний сосед проходил в темноте мимо нас. Потом я поворачивался к ней, все так же молча расстегивал ее пальто, просовывал руки в теплую глубину за ее спиной, обнимал ее, чуть притягивал к себе и прижимался губами к ее губам.

И, закрыв глаза, мы медленно поднимались над землей, устремляясь куда-то за облака и еще дальше и выше, и долго-долго летали там, забыв обо всем, что было до нас, и не думая о том, что будет после нас, носимые и поддерживаемые в небесах какими-то невидимыми и теплыми потоками.

И всякий раз ее белые варежки лежали у меня на груди, словно карауля что-то, напоминая о чем-то, словно она старалась держать меня на какой-то одной ей известной и необходимой дистанции.

Мы стояли так, прижавшись, друг к другу по десять, пятнадцать, двадцать минут, а иногда и по целому часу.

Под моими руками была ее спина — ее молодая и податливая девичья спина. Иногда мои руки сами начинали двигаться по этой спине, но тогда белые варежки начинали танцевать у меня на груди, и я, притянутый было на мгновение вниз, к земле, тяжелой силой вечных земных законов, снова взмывал вверх, и мы снова парили с ней за облаками, в небесах, на высоте, недоступной действию этих тяжелых земных законов.

И мне ничего тогда не было нужно от нее, кроме соломенного запаха ее волос, земного

и горького, как июльское сено, ничего, кроме ее губ, — нежных и трепетных, как крылья далекой, непойманной бабочки.

Мы целовались с ней иногда по три, а иногда и по четыре часа подряд. Мы стояли в подъезде ее дома, держа друг друга за руки, и я, глядя в ее серые, вспыхивающие блестками радостных слез глаза, совершенно отчетливо чувствовал, как где-то в глубине моего существа возникает то восторженное и радостное удивление, которое появляется всякий раз, когда видишь, как при ярком свете солнца падают с неба на землю теплые стрелы неожиданного летнего дождя.

И мне ничего тогда не было нужно от нее, кроме этих серых, влажных и доверчивых глаз, в которых я угадывал обещание чего-то единственно важного и необходимого мне в жизни.

Может быть, все это происходило потому, что мне было тогда всего двадцать лет.

Все кончилось просто и неожиданно. Весной она уехала на практику, все лето я не видел ее, а когда мы встретились осенью, она сказала мне, что выходит замуж.

Вскоре я познакомился и с ним. Он был на двенадцать лет старше меня, носил вызывающую бородку клинышком, был резок и смел в суждениях и имел ученую степень кандидата наук.

Над ней он все время подсмеивался, это ее злило, но тем не менее все видели, что она влюблена в него по уши. Когда он появлялся, она сразу переставала быть сама собой, начинала выкидывать разные никому не понятные штучки, громко смеялась и вообще разгоняла сразу всех своих поклонников. Может быть, она старалась казаться лучше или оригинальнее, чем была на самом деле, но у нее получалось все наоборот, и от этого она психовала и злилась еще больше.

Ко мне он против всех ожиданий отнесся необычно серьезно и дружественно. После двух-трех разговоров с ним я услышал от своих знакомых, что он назвал меня вполне современным парнем.

Несмотря на разницу в возрасте, он каждый раз при встрече заводил со мной умные разговоры о кризисе квантовой механики, о синтезе белка, о последних достижениях математической логики и т. д. Когда нам случалось быть где-нибудь втроем, он всегда держал мою сторону и всячески подчеркивал, что мы (я и он), мужчины, — это одно, а вы (она), женщины, — это нечто совсем другое, менее ценное и значительное.

Меня это раздражало, и я видел, что это раздражает и ее, но он всегда умел находить такие слова, что мы сами потом смеялись над своим раздражением и соглашались со всеми его мнениями и оценками. Любое явление, любой самый незначительный пустяк он быстро и уверенно раскладывал на составные части, выделял главные, исключаящие друг друга стороны, и с шуточками-прибаутками доказывал, что предпочитать что-либо одно нелепо, так как такое предпочтение означает непонимание существа и процессов жизни, особенно позорное при современном уровне аналитической мысли.

Он был для нас обоих чем-то вроде лицейского дядьки, первым «экскурсоводом» по еще недоступному нашему пониманию сложному лабиринту жизни.

И, говоря откровенно, я завидовал ему. Я не выделял из его характера какой-либо одной черты, которую бы мне хотелось иметь. Он мне нравился весь, нравился до тех пор, пока я не начинал думать о ней. Когда в мои мысли о нем приходила она, я начинал ненавидеть его.

В отношениях со мной он только один раз допустил ошибку, которая сразу же все

определила.

Все трое мы учились в одном институте (вернее, учились только я и она, а он был преподавателем ее факультета, руководителем ее практики), и все трое мы страстно увлекались баскетболом. Однажды, когда на первенстве института встречались команды наших факультетов, он решил «зажать» меня, то есть, говоря языком спортивным, дать мне забросить в корзину его команды как можно меньше мячей.

Но он был любителем, а я тренировался в студенческой команде мастеров, и, кроме того, я был выше ростом и физически сильнее его. Я обыгрывал его во всех положениях — и в бросках с места, и в проходах по краям, и в прыжках под корзиной. Счет неудержимо рос в пользу нашей команды.

И тогда он решил «прихватить» меня, то есть нанести мне легкую травму, чтобы ему было легче справляться со мной в игре. Кто-то из нашей команды бросил мяч по их корзине, мяч отскочил от щита, и мы оба прыгнули за ним. В прыжке, делая вид, что тянется за мячом, он схватил всей кистью мой правый большой палец и резко вывернул его.

Мяч, конечно, достался ему, а у меня в глазах потемнело от боли. Вспышку гнева и знакомое каждому спортсмену желание немедленно отомстить я подавил. Я знал, что на трибунах сидит она, и никак не мог разрешить себе быть хуже его, хотя бы в спорте — единственной области, где я сохранял преимущество.

Я просто стал играть еще лучше. Минуты за три я забросил подряд пять мячей. Болельщики с нашего факультета восторженно вопили и скандировали мое имя. Я видел, как он медленно теряет власть над своими чувствами, и это подзадоривало меня, и я играл ещё напористее и точнее.

Наконец, нервы его не выдержали. Выбрав момент, он не то чтобы еще раз «прихватил» меня, а просто «снес» меня, применив такую штуку, после которой пострадавшего игрока или уносят с поля на носилках, или увозят на скорой помощи.

Теперь, вспоминая об этом, я пытаюсь понять причины, толкнувшие его на такой поступок. Он привык к тому, что я проигрывал ему во всем и не допускал даже мысли о том, что я хоть как-то могу поколебать его превосходство. Он хотел абсолютной победы надо мной, и в этом, наверное, и была его ошибка.

Он тоже знал, что она сидит на трибуне. И хотя она и так была влюблена в него по уши, и хотя она и так ловила каждое его слово (после практики он стал ее научным руководителем), он захотел доказать, что и в спорте он лучше меня. Он захотел ликвидировать мое единственное преимущество, он захотел «добить» меня до конца. И это была типичная ошибка сильного, который хочет быть еще сильнее, который хочет иметь больше того, что уже имеет.

В борьбе за мяч под кольцом их команды я прыгнул очень высоко, последним усилием достал кончиками пальцев мяч и таким волейбольным пасом, одной рукой доиграл мяч в корзину. (В это время под их кольцом было много игроков. Вместе со мной прыгало еще несколько человек, но до мяча дотянулся только я один.)

В момент прыжка он находился рядом со мной. Но когда я взвился вверх, он остался стоять на земле. И вот тогда, когда, потеряв поступательную инерцию вверх, я стал опускаться, он дотронулся плечом до моих ног и отвел их немного в сторону. Он сделал то, что в спорте называется «подсечкой», или «подсадкой».

Центр тяжести моего тела изменился, и вместо того чтобы приземлиться, как обычно, на ноги, я рухнул на пол предплечьем и головой.

Потом мне рассказывали, что, когда голова моя ударилась об пол, раздался такой звук, что все находившиеся в зале мгновенно замолчали. Было такое впечатление, будто голова моя раскололась пополам. Стало тихо-тихо, все затаили дыхание, и только один женский голос слабо вскрикнул:

— Ой...

И я услышал этот голос. И я узнал — чей это был голос.

По всем законам медицины после такого падения я должен был остаться лежать на полу. У меня просто не должно было сохраниться после такого удара головой никаких сил, чтобы подняться с пола.

Но я тем не менее поднялся. Может быть, потому, что в зале сидела она. А может быть, потому, что мне было тогда только двадцать лет.

Я снова вступил в игру, но играть мне было мучительно трудно, левая рука моя почти не действовала, а в голове шумело, и, конечно, если бы не она, я ушел бы с поля. И хотя болельщики с нашего факультета кричали мне что-то о высоких спортивных «материях», руководствуясь которыми я якобы нашел силы в себе продолжать игру, — честное слово, если бы я не чувствовал на себе ее взгляда, я бы не нашел в себе этих сил.

Вскоре окончилась первая половина игры, и мы пошли отдыхать. В перерыве ко мне подошла врач и, осмотрев, меня, очень удивилась тому, что у меня нет сотрясения мозга.

А потом я увидел ее. Она стояла неподалеку от нашей раздевалки и, когда мы выходили на второй тайм, посмотрела на меня очень внимательно, и в ее взгляде я уловил жалость.

А она пожалела меня, и это определило все дальнейшее, хотя какое еще другое чувство могло быть у нее в ту минуту ко мне, кроме обыкновенной женской жалости? Ведь не могла же она отгадать мои мысли на расстоянии, не могла без слов понять того, чего мне тогда так хотелось от нее.

Ведь она собиралась выходить замуж не за меня, а за другого.

С первых же секунд второго тайма он начал играть как победитель. Все, что удавалось в первой половине игры мне, теперь удавалось ему. Он переигрывал меня и на краях и в центре. Он выше меня прыгал, быстрее бегал, точнее бросал мяч в корзину. Он активно реализовывал свою «подсечку», и счет теперь неуклонно рос в пользу их команды.

Он видел, что мне тяжело «держаться» его. Я не допускал тогда мысли о том, что он подсек меня специально для того, чтобы ему было легче играть против меня в нападении. Просто он был любитель, а я тренировался в команде мастеров, и когда он увидел, что их факультет проигрывает, что он проигрывает мне на глазах у нее, он, в азарте игры, решился на запрещенный прием, так как у него больше не было никаких средств, чтобы изменить ход игры, а проигрывать команде, за которую играл я, ему не хотелось. Он просто не привык проигрывать мне ни в чем.

Не думал я тогда и о том, что он хотел, чтобы я ударился именно так сильно. Я думал, что он просто решил чуть поохладить мой наступательный пыл, сравнять наши неравные возможности, сделать себя сильнее в защите от меня, но не в нападении против меня.

Но тем не менее, когда я так упал, когда все было за то, что я не смогу продолжать игру, а я все-таки снова вступил в нее, он воспользовался моей слабостью именно в нападении против меня. Если бы он удовлетворился только тем, что я стал играть хуже в нападении, если бы он ограничился во втором тайме только защитой против меня (что сделать ему теперь было не так уж и трудно), возможно, ничего бы и не произошло.

Но он перешел в наступление. Он нападал. Он переигрывал меня в нападении только потому, что я был слабее его из-за травмы, виновником которой был он. Он не делал мне, слабому, никакого снисхождения. Он упивался своим успехом. Он забыл о том, что разница в наших силах была в ту минуту временная, а не постоянная. Он просто добивал меня, не думая ни о чем, наслаждаясь своим преимуществом надо мной.

И, как ни странно, его успехи постепенно возвращали мне силы. Древнее, может быть одно из самых древних человеческих чувств, — чувство протеста против несправедливо завоеванного превосходства медленно просыпалось во мне.

И еще я помнил ее взгляд, когда мы выходили на второй тайм из раздевалки. Женский взгляд, полный жалости к поверженному претенденту, тот самый взгляд, в котором жалость является не чем иным, как продолжением восторга перед победителем, только ничтожной долей человечности в огромной, единой вспышке инстинктивного преклонения перед сильнейшим.

Нет, я не хотел тогда быть ниже ее жалости. Я вошел в игру, азарт борьбы укреплял во мне чувство протеста против его успехов, купленных ценой моего падения. Будучи слабым, будучи тем, кого добивают, не учитывая никаких обстоятельств, будучи в ее глазах только поверженным претендентом, я в момент исполнения им какого-то особо красивого и точного броска в нашу корзину испытал резкую, как удар молнии, потребность в немедленном удовлетворении своего протеста. Я почувствовал, что не смогу больше ни одной секунды смотреть на него, если мгновенно не переведу ее жалость с себя на него.

И я «снес» его, и не так, как он меня, а сильнее, «смертельнее», на полном ходу, по всем правилам жестокой и почти профессиональной игры, из которой любителю по неписанным законам большого спорта нельзя брать ни одного запрещенного приема, не испытав его сначала на своей собственной шкуре.

Он быстро двигался «дриблингом» к нашему кольцу — вел мяч, ударяя его об пол. Около него было несколько игроков. Я на ходу вошел в их группу и ударил его плечом. Он не обратил на меня никакого внимания. Он весь был во власти азарта, во власти превосходства надо мной. И тогда я начал двигаться рядом с ним, стараясь поставить свою правую ногу как можно ближе к его левой ноге.

И когда это удалось, я сделал своей правой ногой такое движение, которое делают, танцуя чарльстон: поставил ногу на носок и одновременно резко повернул пятку вправо.

Моя пятка задела его левую ногу, и его левая нога пошла не так, как обычно идет нога у бегущего человека — вперед, а в сторону и зацепилась за его правую ногу.

И на полном ходу, потеряв мяч, он врезался головой в железные стойки гимнастических брусьев, стоявших неподалеку от края баскетбольного поля.

Он ударился о брусья с таким звуком, с каким сталкиваются на улице два грузовика. Весь зал снова вскочил на ноги. Снова стало тихо-тихо. И когда по его лицу медленно покатились струйки крови, обрушился такой крик и шум, который трудно себе даже представить.

Игроки его команды бросились ко мне, но наши ребята стеной встали возле меня. Держа за руки игроков его команды, наши ребята окружили меня плотным кольцом, никого не подпуская ко мне. А по полю уже бежали болельщики с его факультета. Но и наши болельщики тоже сорвались со своих мест и тоже бежали через поле к нам.

Он лежал под брусьями, а по обе стороны брусьев стеной встали обе наши команды, и за спинами игроков — человек по пятьдесят болельщиков с каждого факультета. И все

молчали. Никто не говорил ни слова. Все знали о наших с ним отношениях и о том, что стояло между нами. Все видели, как он подсек меня в первом тайме (он сделал это «чисто» — судьям не за что было его даже наказывать). Все слышали, как я ударился головой об пол, все понимали, что после такого удара у меня не оставалось никаких шансов, чтобы встать.

Но я все-таки встал. Я не жаловался судьям. Я просто взял и встал. А теперь вставать была его очередь.

Но он так и не встал. Может быть, потому, что он был на двенадцать лет старше меня.

И когда стало ясно, что он не встанет, что он потерял сознание, когда игроки его команды подняли его на руки, чтобы вынести из зала, сквозь толпу болельщиков протиснулась она.

Она попросила снова опустить его на пол, приподняла его голову, положила ее к себе на колени, достала платок и медленным, осторожным движением вытерла кровь с его рассеченной брови. Потом она подняла свои большие серые глаза и посмотрела на меня.

Ах, какой это был взгляд! Не забыть мне его, наверное, до конца своей жизни.

Все в нем было, в этом взгляде, все, из чего веками лепилось женское естество во всей своей сложности и загадочности. Напряженно вглядывалась она в мое лицо, пытаюсь понять, почему я сделал это, почему я, нелюбимый, поднял руку на него, любимого, на ее бога, почему сделал то, что было так непонятно ей, чего ей так не хотелось.

Все было в ее взгляде, кроме одного. Того, что так хотелось увидеть мне. Не было в ее взгляде жалости к нему. Была скорбь, грусть, печаль, недоумение, а жалости не было.

И я понял, что я проиграл свою партию с ней. Я напрасно «снес» его, я напрасно защищался! Их было двое, а я один, и моя карта была бита с самого начала. Даже теперь, когда он лежал окровавленный под брусьями и не мог встать, она продолжала жалеть только одного меня.

Его унесли. Толпа болельщиков провожала его, как героя. И хотя мне, когда я, как в тумане, с трудом поднимался на ноги в первом тайме, тоже что-то кричали с трибун восторженные болельщики, героем дня был он, а не я. Его уносили с поля, а я встал сам. Он выложился весь, до последней капли, а у меня оставались силы, чтобы самому подняться на ноги.

Его унесли в раздевалку, и она тоже ушла, идя рядом с ним и поддерживая рукой его голову.

Судьи прервали нашу встречу, и так как счет «к моменту столкновения двух игроков», как записали в протоколе, был все еще в пользу нашего факультета, победу присудили нам. Мы выиграли.

Мы выиграли, а я проиграл.

Вся наша команда долго еще оставалась в зале. Мы медленно натягивали на себя тренировочные костюмы, а вокруг нас горячо обсуждали игру самые ярые болельщики с нашего факультета.

Потом я вышел в коридор. Мне хотелось воздуха, хотелось хватануть губами снегу и вообще забраться в какой-нибудь угол потемнее и укрыться с головой большим и тяжелым одеялом.

И тут ко мне подошел один парень, студент нашего института, с которым мы вместе играли в команде мастеров.

— Я был в раздевалке, — сказал он. — Там кто-то из партбюро прибежал, прошел слух,

будто ты вообще убил его.

Я молчал.

— Он уже в порядке, — продолжал мой знакомый. — Дали нашатырчику понюхать, и он тут же очухался... А ты знаешь, что он сказал?

Я молчал.

— Он сказал этому деятелю из партбюро, что ты ни в чем не виноват. Он сказал, что он сам просто спотыкнулся.

— А она? — спросил я. — Где была она?

— Она была рядом.

И я понял, что проиграл свою партию с ним. Мне было двадцать, а ему тридцать два, и в нашей неоконченной встрече последний ход записал он, а не я.

И это был правильный ход.

Всю ночь после этой игры я почти не спал, ворочался с боку на бок, курил, ходил по комнате, а рано утром, часов в шесть, раздался телефонный звонок, и черная эбонитовая трубка ее голосом попросила меня немедленно приехать к станции метро «Динамо».

У нее был такой странный голос, что я ничего не стал спрашивать, а просто сказал, что приеду через полчаса, не придав даже никакого значения тому, что неподалеку от метро «Динамо» жил он.

Когда я поднялся наверх и вышел из вестибюля, она стояла около колонны, прислонившись к ней сразу и спиной и головой, и смотрела куда-то вверх. Не глядя на меня, она поздоровалась и сказала, что ей нужно поговорить со мной.

Еще не было даже семи часов, стадион был пуст, а ворота на стадион были открыты, и мы медленно прошли через них и, не глядя друг на друга, пошли по широкой безлюдной аллее.

Начиналась зима, накануне выпал первый снег, все вокруг была белое-белое, как в больнице, и только темные силуэты голых, будто обугленных, деревьев одиноко чернели на сплошном безразлично-белом фоне.

Мы прошли несколько шагов, она неожиданно остановилась и посмотрела на меня. И я вдруг увидел, что на ее лице нет ее глаз, что из глубины ее зрачков на меня смотрит он, смотрит, чуть приподняв свою бородку-клинышек, смотрит пристально, немигающе.

— Ты знаешь, — начала она далеким-далеким голосом и замолчала.

— Ты знаешь, что я люблю все-таки тебя? — сказала она.

Я молчал.

Она закрыла глаза, и из-под ее опущенных вниз ресниц потекли слезы.

Она стояла передо мной, опутив руки и закрыв глаза. Плечи ее вздрагивали, и кончиком языка она старалась поймать катившиеся по щекам слезы.

— Мне холодно, — сказала она. — Поцелуй меня.

В то утро головы не было на моих плечах. Я нагнулся к ней, дотронулся губами до ее щеки и, ощутив солоноватый привкус ее слез, понял: что бы она сейчас ни сказала, что бы ни сделала, я все равно все прощу ей.

Она положила мне руки на грудь, я обнял ее за плечи и вдруг почувствовал, что не я, как обычно, а она чуть притягивает меня к себе за лацканы моего пальто. Это было так ново, так неожиданно, что я невольно подался назад. И она, уловив мое движение, сразу же отпустила меня и отвернулась.

— Ты глупый, — сказала она. — Глупый, глупый...

...Мы прошли мимо высоких футбольных трибун, свернули направо и вышли на территорию малого стадиона. По обе стороны аллеи стояли пустые баскетбольные площадки. Было непривычно и почему-то грустно видеть их без людей, и снега здесь, пожалуй, было еще больше, чем на аллеях. Молодой и искристый, он лежал ровной белой пеленой, и только в некоторых местах крестообразные птичьи следы нарушали его нежную, пушистую нетронутость.

— Как плохо, что началась зима, — сказала она. — Холодно.

Я молчал. Я не знал, почему ей не нравится зима. Я вообще ничего не знал в то утро.

Потом она сказала мне, что хочет есть.

У меня не было денег. Я сказал ей, что мне нужно заехать домой. Мы взяли такси и поехали ко мне. Когда машина остановилась около нашего подъезда, я попросил шофера подождать меня пять минут, а потом зачем-то снял шапку и положил ее на сиденье. Шофер улыбнулся.

Дверь мне открыла мать.

— Это ты приехал на такси? — спросила она. — Куда ты ездил так рано?

— Мама, дай мне сто рублей, — сказал я, стоя в коридоре и не заходя в комнату.

— Зачем?

— Мама, ни о чем не спрашивай. Ничего плохого, просто очень нужно. Я все расскажу потом.

Она долго смотрела на меня, а потом принесла деньги.

— Только не делай глупостей.

— Я отдам тебе со стипендии.

Она улыбнулась, и я ушел.

— Взял у матери? — спросила она шепотом, когда я вернулся в такси.

— У меня были свои, — угрюмо сказал я, «Почему она догадалась?» — подумал я про себя, но вслух ничего не сказал.

...Все рестораны в городе были еще закрыты, и мы поехали на вокзал. Нас посадили за маленький, стоявший на самом проходе стол.

— Почему у вас скатерть такая грязная? — спросила она у подошедшего официанта.

Официант ушел и вернулся с чистой скатертью. Я заказал котлеты и бутылку воды.

— У вас есть бифштекс? — спросила она.

— Это из порционных блюд, — сухо сказал официант. — Придется ждать.

— Я подожду, — согласилась она.

Несколько минут мы сидели молча.

— Слушай, — вдруг сказала она, — не качай стол.

— Я не качаю, — сказал я, — он качается сам.

Наш столик стоял в самом центре ресторана, и мимо нас все время проходили к поездам и с поездов какие-то люди с чемоданами и мешками, и, когда открывалась входная дверь, доносились гулкие звуки вокзальной жизни под высокими сводами и скучные голоса радиодикторов, и был виден зал ожидания, в котором на толстых деревянных скамейках в косую повалку, как доски в старом накренившемся заборе, спали, тесно прижавшись друг к другу, совершенно чужие и даже, наверное, незнакомые друг другу люди.

— У тебя много денег? — спросила она.

— Хватит.

— Давай возьмем бутылку шампанского?

— Бери.

Около нее стояла на столе коренастая пузатая рюмка, а возле меня — высокая, на длинной тонкой ножке.

— Хочешь поменяться? — спросила она.

— Хочу.

Она забрала себе мою высокую рюмку, а мне передвинула свою. Официант принес бутылку. Я стал разливать вино. Шампанское было холодное, игристое, и над ее рюмкой сразу же выросла большая шапка пены, и вино стало медленно стекать по тонкой ножке вниз, на скатерть.

Я смотрел на ее рюмку и ничего не мог понять. Почему мы сидим здесь, на вокзале, в ресторане? Почему пьем вино? Почему я ее ни о чем не спрашиваю?

По радио передавали какие-то марши, сводку о погоде, рапорт о перевыполнении, утреннюю зарядку, потом началась литературная передача о любви и дружбе, и стали приводить примеры дружбы между великими людьми — Герценом и Огаревым, Марксом и Энгельсом. Я сидел за столом, слушал стихи о любви Ромео и Джульетты, Татьяны и Онегина и все никак не мог понять: как я попал на вокзал в такую рань?

А с ее рюмки все продолжала стекать на скатерть пена от шампанского. И когда вся пена осела, она взяла рюмку двумя пальцами за высокую ножку, подняла вверх и долго смотрела на свет, как со дна поднимаются вверх и лопаются на поверхности пузырьки воздуха.

— Знаешь, за что выпьем? — сказала она и замолчала.

Пузырьки в ее рюмке все время поднимались со дна и лопались на поверхности.

— Выпьем за наш подъезд, — сказала она.

Она закрыла глаза и медленно начала пить. Я сидел, держа рюмку в руке, и не дотрагивался до своих пузырьков.

— Почему ты не пьешь? — спросила она.

Я посмотрел на нее. Ее большие серые глаза снова были ее глазами, моими глазами. В них снова никого не было, кроме нее и меня. Я искал в ее глазах так хорошо знакомые мне теплые серые блестки, и все это на мгновение явилось мне, но только на одно мгновение, чтобы тут же исчезнуть.

И еще у нее была очень легкая и очень стройная фигура, и это чувствовалось даже тогда, когда она сидела. И я очень надолго запомнил ее такую, какой она была в ту минуту, легкую и светлую, прежде чем задать ей тот вопрос, который давно уже просился у меня с языка и который так быстро расставил все на свои места.

— Почему в шесть часов утра ты была около стадиона «Динамо»? — спросил я.

Она как-то странно посмотрела на меня, будто снова пожалела меня за что-то, потом опустила глаза, поставила на стол недопитую рюмку и ничего не ответила.

Прошло десять секунд, двадцать, тридцать, минута, вторая — она молчала.

— Расплатись, — сказала она, наконец, очень тихо. Потом она снова посмотрела на меня, и теперь это уже были совсем не ее, совсем не мои глаза.

Я расплатился, и мы вышли на улицу. Она подняла воротник, опустила руки в карманы пальто и, не глядя на меня, медленно пошла вперед.

И я пошел за ней, рядом с ней.

От них ничего не зависело. Все зависело от чего-то другого, от того, к чему никто из них не имел никакого отношения.

Их было двое. Вот уже целых полчаса на экране полупустого кинотеатра они пытались пройти по улицам маленького итальянского города то расстояние, которое отделяло их друг от друга, но им никак не удавалось сделать этого.

Я часто ходил с ней в кино до этой осени, до той самой осени, когда она сказала мне, что собирается выходить замуж. После того, как она сказала мне об этом, я больше ни разу не был с ней в кино. Как-то не получалось. И вот теперь мы снова сидели с ней в темном зале, в предпоследнем ряду, но на этот раз все было совсем не так, как это бывало раньше.

До той осени мы всегда сидели, прижавшись друг к другу, держали друг друга за руки, я гладил ее пальцы и ладони, а она изредка поворачивала ко мне в темноте голову, смотрела на меня и молча улыбалась.

А теперь я чувствовал только ее локоть, острый — преострый локоть, лежавший на ручке кресла, изредка касавшийся моего локтя и тотчас вздрагивавший и отодвигавшийся.

А на маленьком полотняном экране черноволосый итальянский парень продолжал любить черноволосую итальянскую девушку. И оба они делали все то, что делают люди, когда любят друг друга. Она приходила к нему домой, в маленькую комнату под крышей, и он прямо с порога начинал целовать ее, а потом поднимал на руки и нес на кровать. И дальше все происходило так, как это бывает в жизни, когда люди действительно любят друг друга.

Глядя на черноволосого итальянского парня, я думал о том, что я, наверное, никогда бы не смог сделать со своей любимой девушкой то, что делал он. Может быть, я тогда просто меньше, чем он, понимал в такой штуке, как любовь, а может быть, дело было совсем в другом.

Он нес ее на руках на кровать, а я только гладил в предпоследнем ряду ее руку да целовался с ней в темном подъезде дома. Конечно, при случае и я бы смог, наверное, поднять ее на руки. Я тоже знал, что детей не приносит аист и что их не находят в огороде под капустным листом. Не такой уж я был младенец даже и тогда.

Но все дело было в том, что я тогда искренне считал, что все это — плохо, очень и очень плохо.

Это существовало в жизни. Я уже и тогда смутно догадывался о том, что это имеет немалое значение в жизни. Но об этом никто и никогда не говорил со мной по-настоящему, на уровне моего «опыта» и моих представлений об этом. В кино парни моего возраста в основном занимались работой и общественными делами, в книгах тоже почти ничего не было, а среди моих сверстников всякие общие разговоры об этом всегда почему-то сводились к похабщине. И приходилось во всем этом разбираться самому, в одиночку.

Правда, был еще один, «общественный» источник сведений об этом, но чаще он возникал тогда, когда это происходило между чужими мужьями и женами, и начинались всякого рода разбирательства, персональные дела, исключения, выговоры, выводы и т. д.

Я чувствовал, что это неотвратимо надвигается на мою жизнь, мои интересы и мои симпатии и привязанности. Но я никогда, наверное, не смог бы даже и подумать о том, что это может произойти с ней, с девушкой, которую я люблю. Я был воспитан семьей, школой, кино, литературой, комсомолом. И семья, и школа, и кино, и литература настойчиво исключали это из сферы своих интересов, будто этого действительно никогда не существовало в жизни. Это было нехорошо, стыдно, дурно, и я тогда искренне считал, что

для меня этого не должно существовать до тех пор, пока я не окончу институт и не женюсь.

И я занимался спортом, принимал по утрам холодный душ, спал с открытой форточкой. Но все равно это накатывало, и иногда на улице я долго не мог оторвать взгляда от какой-нибудь незнакомой женщины и подавлял в себе приступы этого только очень большим усилием своей образцовой сознательности. Я утешал себя мыслью о том, что скоро окончу институт и женюсь. Тогда я искренне верил в то, что люди женятся только для этого.

... А на экране черноволосый итальянский парень продолжал любить свою черноволосую итальянскую девушку. Он только никак не мог жениться на ней, хотя и очень хотел этого. (Разумеется, он собирался жениться совсем не для того, как об этом думал я. Этого у него со своей девушкой хватало и до женитьбы.)

У итальянского парня не было работы, не было денег. Он был пролетарий, жил на чердаке какого-то облупленного дома, ходил по улицам, сплошь завешанным бельем на веревках, и вообще было непонятно, почему он до сих пор еще не умер от голода.

У него ничего не было, у этого нищего итальянского парня. Зато у него было огромное сердце — во весь экран. И он любил свою девушку как хотел — на всю ширину экрана. Из них прямо искры сыпались, когда они встречали друг друга.

А я только гладил ее по руке в последнем ряду на последнем сеансе, да еще целовался с ней в темном подъезде ее дома.

Да и то это было в лучшие времена, еще до той осени, когда она сказала мне, что собирается выходить замуж.

После кино мы долго бродили по улицам. Она ничего не говорила и не уходила. И я тоже больше ни о чем не спрашивал у нее и тоже не уходил.

Где-то в середине дня мы неожиданно оказались около зоопарка.

— Зайдем? — не глядя на меня, спросила она.

— Зайдем, — согласился я.

Когда-то мы часто ходили с ней сюда. В зоопарке всегда было полно билетов, и здесь всегда было интересно, не хуже, чем в кино или в цирке. Особенно тогда, когда была хорошая погода и все звери вылезали из своих клеток погреться и подурачиться на солнышке.

Больше всего мы любили с ней стоять возле площадки молодняка. Я заметил, что сюда подходили в основном дети со своими папами и мамами и парочки — вроде нас с ней.

Главными героями всегда были, конечно, медвежата. Они потешали публику по нескольку часов подряд. То они ходили в обнимку по всей площадке, то, как ленивые борцы, подолгу стояли на задних лапах, упираясь друг в друга передними, хитровато поглядывая на публику, то вдруг переходили в «партер» и яростно катались в пыли, а потом садились перед зрителями и вытягивали перед собой лапы, прося разнообразить их медвежачье меню чем-нибудь необычным и, разумеется, сладким.

Глядя на медвежат, она заливалась всегда таким громким и неудержимым хохотом, каким не смеялись даже самые маленькие посетители зоопарка. Ока брала меня под руку и, уткнувшись лицом в мое плечо, вся тряслась от переполнявшего ее безоблачного детского веселья.

И это безоблачное детское веселье счастливыми, невидимыми волнами всегда почти физически доходило до моего сердца, и, не глядя на нее, я снова видел ее серые, вспыхивающие блестками радостных слез глаза, и снова мое сердце до краев было

наполнено тем восторженным удивлением, которое возникает всякий раз, когда видишь, как при ярком солнечном свете падают с голубого неба на зеленую землю теплые стрелы неожиданного летнего дождя.

Я снова отчетливо слышал соломенный запах ее волос, земной и горький, как июльское сено, и снова хотел найти губами ее губы, нежные и трепетные, как крылья далекой, непойманной бабочки.

Мы ходили с ней по всему зоопарку, острились, дурачились, покупали горячие, усеянные веснушками мака бублики, кормили через невысокий вольер коренастых уток на берегу большого озера, катались по кругу под звон бубенчиков на гривастых коньках-горбунках, умирали со смеху в обезьяннике, где за толстыми стеклами вконец обнаглевшие человекообразные яростно колотили ложками в дно жестяных тарелок, требуя еды, а может быть, заодно и зрелищ...

Нам было так хорошо с ней вдвоем в зоопарке, где никто и ничего от нас не требовал, никуда не посылал и ниоткуда не вызывал, что мы иногда проводили здесь целые дни, и нередко, придя рано утром, чуть ли не первыми, уходили последними, только перед самым закрытием.

К вечеру, когда начинало смеркаться, когда удлинялись тени и солнце застревало в телевизионных антеннах на крыше соседнего дома, мы сидели с ней на открытую террасу маленького летнего кафе и надолго погружались в состояние молчаливой и неподвижной внутренней близости.

На озере кричали пеликаны, белые лебеди, выйдя на берег, провожали минувший день взмахами крыльев, низко над водой пролетали утки, и сквозь утихающее птичье щебетанье доносился дремотный львиный рык. Было тепло, по-весеннему бесцельно, по-студенчески беззаботно. Мы знали, что завтра снова будут занятия — лекции, семинары, зачеты, что завтрашний день снова будет принадлежать не нам, и поэтому сегодня старались все делать только по-своему, так, как хотелось только нам и никому другому. Мы не разговаривали, а просто думали друг о друге, и каждый пытался представить наши будущие отношения такими, какими ему бы хотелось их видеть.

Но все это было давно, весной, ранней весной, когда долго не темнеет и тепло даже поздно вечером. А сейчас была осень, поздняя осень, когда рано приходят сумерки, когда иней серебрит привядшую траву и тонкий лед затягивает воду, оставшуюся после дождя в человеческих следах на земле. Все это (и молчаливая близость, и понимание друг друга на расстоянии) было весной, когда она еще не уезжала на практику, а теперь уже прошло три месяца, как она приехала, Три месяца уже прошло с того дня, когда она сказала мне, что выходит замуж.

И сегодня утром, в шесть часов, она позвонила мне со станции метро «Динамо» и попросила приехать туда, где совсем неподалеку жил он.

И я приехал...

Было пустынно и грустно около невысокого длинного вольера, окружавшего большое озеро, и на самом большом озере, и около площадки молодняка, и на кругу, по которому еще совсем недавно бегали норовистые коньки-горбунки. Не было видно ни уток, ни селезней, ни белых, ни черных лебедей. Не кричали пеликаны. Не доносился львиный рык. Не покачивал ушами возле своей бетонированной хижины большой старый добрый слон.

Было закрыто наше кафе, и не продавали в зоопарке душистые, теплые, усеянные веснушками мака хрустящие бублики.

Мы медленно и молча шли по аллее хищников. Почти все клетки были пусты, от них веяло каким-то всеобщим исчезновением, падежом, эпидемией, и только в одной, прижавшись лобастой головой к железным прутьям решетки, сидел крупный задумчивый волк. Он пристально и с интересом смотрел на нас, когда мы подходили к нему, и, неторопливо повернув голову, проводил нас долгим, внимательным, немигающим взглядом, в котором не было ни тоски, ни уныния, ни тяжести одиночного плена, а была только твердая, сосредоточенная готовность к ежеминутному мщению и неизмеримая, все запоминающая и ничего не прощающая бездонная звериная глубина.

Мы подошли к террариуму земноводных. У входа в большом бараньем тулупе дремала старушка-контролерша. Мы прошли мимо нее — она не проснулась. Гулкие шаги по каменной лестнице обгоняли нас. Эхо торопилось предупредить кого-то о нашем приближении, но в террариуме никого не было, и эхо, сделав по кольцевому коридору круг, возвращалось к нам притихшим и ослабевшим, будто прося прощения за совершенное предательство, за то, что опередило нас.

Мы молча шли мимо огромных безводных аквариумов, освещенных изнутри соломенным тропическим светом, в которых, свернувшись мускулистыми кольцами, похожие на затаившиеся пружины, лежали молодые неунывающие змеи, мимо широких прозрачных витрин, за которыми, разбросав в стороны передние и задние лапы и неподвижно припав к боковым стенам, слепленным из обломков скал, будто распятые миллионами каменных и бронзовых веков, таинственно замерли зубчатоголовые ящерицы, храня под своими окаменевшими панцирями древние тайны земли — тайны возникновения жизни, любви, ненависти, радости, печали, одиночества.

Мы шли мимо больших, светящихся в темноте стеклянных клеток, в которых было остановлено время, в которых жизнь была представлена такой, какой она была миллиарды лет назад, когда по неостывшей еще планете в образе огромных самодовольных гадов ползали необузданные чешуйчатые инстинкты, когда не сыскать было на Земле ни крупинки разума, ни крупинки слабости, ни крупинки доброты и человечности.

В этих больших, светящихся в темноте стеклянных клетках было заключено неистребимо дремучее начало жизни, то самое начало, которое извечно сопротивлялось движению жизни вперед, которое, возникнув на Земле миллионы тысячелетий назад, так и не изменилось, так и дожило до наших дней в своей окаменевшей первозданности, на которое ничто не повлияло, которое ничто не сломило, которому ничто не помогло, которое осталось глухо к истории Земли и не пошло вперед ни по одному из многих путей развития жизни, которое было самым отсталым, самым косным, самым ничтожным, самым неподдающимся всеобщему закону изменения и улучшения, которое так и не сумело выпрямиться, подняться с земли, встать на ноги, которое так и осталось в жизни наиболее чешуйчатым, наиболее примитивным, наиболее инстинктивным и пресмыкающимся началом.

...Она остановилась около аквариума с черепахами. Желтый искусственный свет однообразно освещал сухое песчаное дно, по которому были разбросаны серые осколки булыжников. В одном месте эти булыжники, аккуратно расколотые пополам, были навалены кучей, и эта куча при ближайшем рассмотрении оказалась самими черепахами. Они беспорядочно валялись друг на друге — ленивые и жалкие в своих абсолютно не нужных им панцирях-веригах, и только одна, очевидно самая молодая и не успевшая еще пресытиться безбедным житьем под искусственным солнцем, покинула свою предающуюся неподвижной

вакханалии «компанию» и подползла к переднему стеклу аквариума.

Напряженно вытягивая змеиную безволосую голову, черепаха стала медленно перебирать передними лапами по стеклу, пытаясь встать на задние, но тяжесть панциря потянула ее назад, и она опрокинулась и, упав на спину, отчаянно засучила беспомощно торчащими из-под панциря ногами.

Она вдруг резко отвернулась от витрины и в упор посмотрела на меня.

— Зачем ты сбил его вчера? — тихо спросила она.

Черепаха, лежа на спине, продолжала беспомощно шевелить ногами.

— Зачем ты сбил его вчера? — спросила она громче.

Черепахе удалось поползти на спине до ближайшего камня, она оперлась об него сначала боком, потом одной лапой, второй, но перевернуться и встать на ноги ей пока не удавалось, несмотря на все отчаянные усилия. Тяжесть костяного панциря неумолимо притягивала ее спиной к земле, заставляла корчиться, извиваться, мучиться.

— Зачем ты сбил его вчера? — спросила она очень громко, и в голосе ее мне послышалось не то удивление, не то страх, а может быть, и то и другое вместе.

Я молчал. Я был сегодня рядом с ней почти с шести часов утра. Она попросила меня сегодня утром приехать к метро «Динамо», туда, где совсем рядом жил он, — я приехал. Она попросила меня отвезти ее в ресторан — я отвез. Она захотела в кино — я пошел с ней в кино. Она захотела в зоопарк — я пошел в зоопарк. Я был с ней сегодня рядом почти целый день.

Я и сейчас стоял рядом с ней: всего в двух шагах. Но я молчал. Я мог быть с ней сегодня рядом целый день, целые сутки. Но разговаривать с ней я не мог.

— Зачем ты сбил его? Зачем? — вдруг закричала она и, прижав руки к груди, шагнула ко мне. — Почему ты молчишь? Почему?!

Я молчал.

И тогда она заплакала, закрыла лицо руками и, ссутулившись, сгорбившись, пошла в полумраке террариума к выходу, пошла вдоль светящихся в темноте стеклянных клеток, в которых были распяты на стенах неподвижные зубчатоголовые ящерицы, вдоль ярко освещенных желтым соломенным светом витрин, за которыми жили молодые неунывающие змеи и всякие другие земноводные и пресмыкающиеся со старательно выпученными, но ничего не понимающими глазами.

А перевернутая черепаха так и осталась лежать на спине, усталая и беспомощная, побежденная своим тяжелым костным панцирем, израсходовавшая весь запас своих скудных сил на то, чтобы встать, чтобы снова оказаться на ногах, но так ничего и не добившаяся.

Когда мы вышли из зоопарка, было уже совсем темно. Выпавший накануне ночью первый снег был уже весь затоптан и постепенно умирал под ногами прохожих. Хлюпала слякоть, в лужах дрожал оранжевый расплывчатый свет фонарей, и из-под колес проходивших мимо машин летели на тротуар фонтанчики грязной воды.

Она повернула направо, я пошел за ней, и мы медленно, не говоря опять друг другу ни слова, стали подниматься вверх по Большой Грузинской.

Навстречу нам, вдоль трамвайных путей, бежали мутные ручейки растаявшего снега. Люди шли, высоко поднимая ноги, обходя наспех собранные дворниками грязные сугробы, ругая изменчивую погоду и непостоянный климат.

Мы прошли Большую Грузинскую, свернули на Брестскую, пересекли площадь

Белорусского вокзала. Мы шли молча, не говоря друг другу, как это было весь сегодняшний день, ни слова, думая каждый о своем. И только тогда, когда мы спустились с моста и оказались в правом скверике Ленинградского шоссе и она, не останавливаясь, пошла дальше, я понял, что она идет к стадиону «Динамо».

Я вышел вперед и загородил ей дорогу. Она остановилась и, не вынимая рук из карманов пальто, хмуро, почти враждебно посмотрела на меня.

— Куда ты идешь? — спросил я, не глядя на нее.

Она молчала.

— Куда ты идешь? — спросил я, все еще не глядя на нее, но чувствуя, как неудержимо тянет меня посмотреть ей прямо в глаза.

По обеим сторонам скверика неслись в разные стороны забрызганные мокрым снегом машины. Над площадью Белорусского вокзала вспыхивали и гасли красно-зеленые призывные рекламы:

«Пейте свежее жигулевское пиво!

Вызывайте такси на дом!

Покупайте горячие свиные сосиски!

Черноморское побережье — лучшее место для летнего отдыха!..»

— Куда ты идешь? — спросил я громко и посмотрел на нее.

И я увидел в ее глазах острую бородку-клинышек.

— Вечер вопросов без ответов, — сказала она и усмехнулась. — Пропусти меня, пожалуйста.

Я не сдвинулся с места. Она обошла меня и снова пошла в сторону стадиона «Динамо».

Я стоял, не оборачиваясь, спиной к ней. Над площадью Белорусского вокзала продолжали прыгать красно-зеленые буквы рекламы. «Пейте свежее жигулевское пиво...»

Ах, как все это замечательно! Выпил кружку свежего пива, закусил горячей сосиской, вызвал такси и поехал на черноморское побережье проводить летний отпуск...

Что же мне все-таки делать? Догонять ее? Плюнуть и уйти? Но я же люблю ее, люблю, а она идет к другому.

Я обернулся. Она уходила от меня по длинному аккуратному скверику между тяжелыми чугунными скамейками. Она приближалась к стадиону «Динамо». Наплевать. Пусть идет. Пусть идет к своему научному руководителю. Забыть ее. Навсегда забыть ее имя, ее глаза, волосы, фигуру, походку. Вырвать из памяти. Сжечь. Растоптать. Развеять.

Будь ты проклята. (Только не идти за ней.) Во веки веков. (Только не идти за ней.) Я никогда не вспомню о тебе, никогда даже не подумаю о тебе. (Только не идти за ней.) Ты еще пожалеешь об этом, ты еще будешь просить у меня прощения, еще будешь умолять меня. (Только не идти за ней.) Никогда я не пойду за тобой, никогда мне не нравились ни твое лицо, ни твоя фигура, ни твоя походка...

Я догнал ее. Она даже не взглянула на меня. Она быстро шла вперед, засунув руки в карманы пальто.

— Почему ты идешь к нему?

Она молчала.

— Почему ты идешь к нему?

Она молчала.

— Почему ты позвонила мне утром?

Она остановилась. Она посмотрела на меня. И я вдруг увидел, что она старше меня. На

целых двенадцать лет. Весь день она была одного со мной возраста, а к вечеру она стала старше.

Вдруг я понял, что она целый день ждала от меня чего-то. Но чего? Зачем она позвонила мне? Может быть, она просто прощалась со мной и со всем тем, что было у нас?

— Я не пущу тебя! — сказал я.

— Дурак, — сказала она.

— Ты не пойдешь к нему! — сказал я.

— Дурак, — сказала она.

— Не пущу, слышишь?!

— Дурачок, — сказала она.

— Не пущу, — сказал я.

— Отойди, — сказала она.

Я знал, что мне нужно ударить ее. Именно сейчас. Но женщин нельзя, бить. Нельзя бить женщин, детей и животных. Так нас учили еще в школе.

— Наташа, не ходи к нему, — сказал я, первый раз за день называя ее по имени.

Она дотронулась указательным пальцем до пуговицы на моем пальто.

— Иди, — сказала она. — Я позвоню тебе...

И она опять ушла от меня по аккуратному скверику на Ленинградском шоссе между тяжелыми чугунными скамейками.

Я подождал немного, а потом, перейдя на другую сторону улицы, пошел следом за ней. Я старался идти так, чтобы она не увидела меня, но она так ни разу и не оглянулась за все время, пока шла до северных трибун стадиона «Динамо».

Потом она повернула направо, налево, снова направо. Я шел за ней следом и тоже поворачивал направо, налево и снова направо.

Она подошла к его дому, остановилась около его подъезда, подняла вверх голову и посмотрела на его окна.

В его окнах горел свет.

И так ни разу и не оглянувшись, она вошла в подъезд его дома.

Я слышал, как захлопнулись двери лифта, видел, как поднималась освещенная кабинка от одного темного окна к другому, слышал, как лифт остановился на третьем этаже, как она вышла, и как еще раз хлопнула железная дверь, и как, постояв несколько секунд на площадке, она позвонила около дверей его квартиры.

Щелкнул замок, дверь отворилась, кто-то что-то сказал, кто-то засмеялся, снова щелкнул замок, и входная дверь его квартиры закрылась. Захлопнулась.

Прижавшись спиной к забору, я стоял на противоположной стороне улицы и смотрел на окна его квартиры. Окон было четыре — в двух правых горел розовый свет, в двух левых — зеленый. На всех четырех окнах висели шторы: на двух правых — желтые с красным, на двух левых — желтые с голубым. На втором слева окне был прикреплен градусник, а на самом крайнем справа была подвешена снаружи сумка с продуктами и бутылками. Рядом проходила водосточная труба, и мне почему-то захотелось влезть по ней до третьего этажа и срезать сумку чем-нибудь острым, ножом или бритвой.

Сначала за шторами ничего не было видно, только горел свет — справа зеленый, а слева розовый. Потом стали появляться и исчезать тени, и заиграла музыка. Я смотрел на красно-желто-голубые шторы, и воображение щедро подсказывало мне то, чего на самом деле, возможно, и не было. Иногда я начинал шарить глазами вокруг себя по темному двору,

стараясь найти на земле какой-нибудь камень или обломок кирпича, но потом эта вспышка проходила, и я снова отыскивал в мозаике ярко освещенных окон свои цветастые шторы и продолжал смотреть на них.

Что происходило за ними? Какие произносились слова? Почему они там, наверху, вдвоем, а я здесь один? Почему она все-таки ушла? Почему она позвонила мне утром, а вечером ушла?

Не могу сказать, что уже тогда, глядя на окна его квартиры, я имел уже те ответы на все эти вопросы, которые имею сейчас. Но я помню совершенно отчетливо, как уже тогда, сквозь уязвленное самолюбие, через чувственное отношение к случившемуся ко мне неотвратно шло рациональное, разумное понимание всего происшедшего. Смутно начинал я догадываться о том, что во всем случившемся в тот день виновата не только она, но и я сам, что я чего-то не сделал, чего-то не совершил, до окончательного, действенного понимания чего-то так и не поднялся в тот день. И поэтому я стоял один, внизу, а он, хотя и сбитый накануне мною с ног, хотя и бывший слабее меня физически, был наверху, с ней.

Головой я понимал все, головой я, может быть, даже прощал и оправдывал ее, но сердцем я простить ее не мог, сердцем я считал ее виноватой, обманувшей меня, предавшей меня. Она позвонила мне утром, и я приехал, хотя мог и не приезжать. Целый день я был добр к ней, выполнял все ее желания. Я поступал по общепринятым нормам снисходительного отношения к женщине, как делали это все литературные герои, которых мы проходили в школе.

А что я получил за это?

Нет, тогда еще я верил, что добро и справедливость и без моих к тому усилий должны торжествовать и благоденствовать повсеместно, что это торжество обеспечено мне чем-то свыше, чем-то раз и навсегда заведенным и установленным, что даже в чувствах и личных отношениях мне стоит только соблюдать неписанный статус неких общечеловеческих добродетелей, и я могу почти автоматически рассчитывать на безоблачную взаимность и счастливую разделенность.

Нет, тогда я гнал от себя все рациональное и хотел видеть виноватой во всем только ее.

Я помню, как, растревоженный, растасканный в разные стороны и опустошенный этими новыми трезвыми мыслями, я ощутил себя в тот вечер стоящим на краю какой-то неведомой мне до сих пор, незнакомой, затягивающей пропасти, со дна которой веяло первобытным каменным холодом сводчатых пещер террариума земноводных, в котором мы были сегодня с ней и из которого она выбежала плача, закрыв лицо руками.

Будто что-то кончалось в моей жизни, серебристое и солнечное, а что-то новое, гнетущее, свинцово-тяжелое, еще не начиналось, а только подступало, накатывало; будто обрывалась на краю этой пропасти какая-то старая, мягкая, бежавшая среди трав и цветов тропинка, а новая, жесткая, каменистая дорога, по которой идти было дальше, лежала на другой стороне, за пропастью, и чтобы добраться до нее, нужно было совершить непосильный еще для меня прыжок через всю эту пропасть, через всю эту улицу, отделявшую меня от его дома, от его цветастых штор, — прыжок к рациональному, расчетливому, свинцовому, умудренному.

Этот прыжок нужен был мне как хлеб, как воздух, как пища, как дождь зеленому ростку, впервые и неожиданно для себя оказавшемуся на поверхности земли.

Но как мне не хотелось делать этот прыжок!

Я закрыл глаза. Я хотел вспомнить что-нибудь. Что-нибудь. Что-нибудь другое —

далекое и приятное. Я хотел отогнать воспоминаниями все те новые мысли и ощущения, которые лишали меня привычных представлений о жизни, которые делали воздух вокруг меня разреженным, а землю под ногами — неустойчивой. Мне захотелось забыться, перенестись в другие миры и земли, в другие измерения; мне захотелось раствориться в прошлом — простом, понятном и желанном.

И я вспомнил, как однажды, летом прошлого года, мы провели с ней вместе, вот так же как и сегодня, целый день, и даже не один, а целых два, ясных, прозрачных, наполненных синевой с легкой солнечной беззаботностью, неповторимых дня.

Мы встретились в институте. Шла сессия, но у нее в тот день не было ни экзаменов, ни зачетов, и мы решили убежать куда-нибудь до самого вечера. (Свои занятия, когда можно было увидеть ее, я пропускал, не задумываясь.)

Мы доехали до улицы Горького, забрались в троллейбус, и, сидя у открытых окон друг за другом, отправились в Химки — загорать на водную станцию.

По дороге мы веселились, дурачились, играли в номера билетов и идущих навстречу автобусов, высунувшись из окон, здоровались на остановках с совершенно незнакомыми людьми, а потом вдруг раздумали ехать загорать на водную станцию, и, не вылезая из троллейбуса, покатали дальше, на Химкинский вокзал, — прошвырнуться на речном трамвайчике по каналу.

По обе стороны Ленинградского шоссе веселилось пестрое суматошное городское лето. Оно сгоняло под циферблаты больших часов на площадях сотни нетерпеливых молодых людей, ставило на высокие их каблуки всех граждан женского пола, невзирая на возраст и внешний вид, оно отправляло в путешествие по воздуху миллионы будущих тополиных жизней, как бы напоминая о том, что пришло время серьезных сердечных решений и тянуть дальше с этим ответственным делом никак нельзя.

Лето перекрасило город в зеленый цвет — изначальный, истинный цвет жизни. Теплый ветер прыгал на бульварах, с дерева на дерево, кружил головы березам и кленам, а под ними на тяжелых чугунных скамейках сидели неподвижные, как изваяния, как памятники вечному и мудрому человеческому легкомыслию, строгие и задумчивые пары — он и она, он и она, он и она...

Одним словом, лето, едва приняв эстафетную палочку от весны, подмигивало со всех углов. Всюду по-прежнему было полно пухлых, совершенно раздетых мальчишек, которые без разбору стреляли в прохожих из луков своими «отравленными» стрелами, и горластые частные торговки, стоя возле заколоченных цветочных киосков, наперебой предлагали фиалки и ландыши нетерпеливым Ромео, которые после долгого стояния на площадях под циферблатами больших часов все-таки дождались своих непунктуальных Джульетт, опаздывающих на свидания, наверное, еще с тех времен, когда свидания назначались около часов солнечных.

(В тот день у меня было особое настроение. Может быть, обыкновенный человек, ехавший в троллейбусе по Ленинградскому шоссе, ничего похожего и не замечал, но я сидел рядом с ней и поэтому никак не мог не увидеть всего этого.)

...Мы приехали в Химкинский порт. Каменные серые стены речного вокзала выглядели на солнце какими-то особенно легкими и невесомыми. Радио разносило голос известного артиста, певшего о море в Гаграх и о пальмах в Гаграх. Почему-то было очень много молодых людей в белых брюках, и я впервые пожалел о том, что до сих пор не обзавелся такими же элегантными и арктически ослепительными белоснежными брюками.

Мы купили билеты, прошли через зал ожидания, и перед нами распахнулась в обе стороны широкая, пахнувшая ракушками и водорослями гавань, золотисто-серебряная под прямыми лучами солнца.

У причалов стояли большие белые теплоходы, низко над водой пролетали чайки, и мы вдруг оба почувствовали приступ какого-то необъяснимо-беззаботного черноморского настроения, когда хочется долго сидеть около воды, бросать с берега камешки и смотреть, как неторопливо приходит к берегу и уходит обратно большое мудрое море.

Мы сбежали вниз по теплым каменным ступеням, прошли по зыбкому мостику на палубу, пароход радостно и протяжно закричал, и мы отплыли под тихий плеск волны навстречу молодому свежему ветру, навстречу хрупкой тишине, туда, где, образуя горизонт, вечно юная вода сливается с никогда не стареющим небом.

Я открыл глаза. Во всех четырех окнах его квартиры по-прежнему горел свет: в двух правых — розовый, в двух левых — зеленый. На всех четырех окнах по-прежнему висели шторы: на двух правых — желтые с красным, на двух левых — желтые с голубым. По-прежнему на втором слева окне был прикреплен градусник. И только на самом крайнем справа окне уже не была подвешена сумка с продуктами и бутылками.

«Плевать мне на то, для чего они понадобились, — подумал я. — Все равно он ничего не сумел отнять у меня. Все равно она со мной».

Я смотрел на его освещенные окна и не видел его освещенных окон. Ничего не было — ни дома, ни улицы, ни вечера, ни чужого темного двора. Я плыл по залитому солнцем водохранилищу — по широкой и доброй воде, плыл навстречу теплому ветру, навстречу белым чайкам и далеким зеленым лесам. Я стоял на палубе, на самом носу, рядом с флагом. И она стояла на палубе, рядом со мной, с флагом. И мне казалось, что мы никуда не движемся, что мы замерли на месте, остановились, а зеленые белоствольные берега сами плывут мимо нас, стараясь удивить нас своей мгновенной неповторимостью, заставляя нас с грустью поворачивать головы то в одну, то в другую сторону.

Леса сменялись рощами, рощи — полянами, поляны — полями, и снова тянулись леса, леса, леса, и казалось, что деревья, стоявшие около самой воды, растут не на земле, а прямо из воды. Вылетали из лесу, кружились над водой и снова улетали в лес молчаливые чайки. Хитрые вороны, перебиравшиеся по своим неотложным вороньим делам с одного берега на другой, сидели на бакенах и отдыхали, покачиваясь на волнах, идущих от нашего теплохода. Грузенные вровень с капитанскими мостиками, проходили по бортам самоходные баржи, чумазые, коренастые буксиры тянули за собой длинные связки плотов, на которых висели над кострами котелки, сушилось на веревках белье, играли на гитаре, пили водку, бегала и лаяла собака; парусники и яхты, кокетливо склонившись набок, пересекали нам наискосок дорогу, а с зеленых холмов бежали врассыпную к воде любопытные березы и, тронутые ветром, махали нам ветками, а если ветра не было — просто стояли на берегу и подолгу смотрели нам вслед.

Иногда близко к каналу подходил поезд, слышно было, как однообразно лязгают на стыках рельсов колеса, как гремят на ходу металлические части, как паровоз, если только поезд был не электрический, развешивая по верхушкам деревьев клочки белого дыма, обиженно пыхтит, утаскивая вагоны обратно в лес.

Были еще видны на берегах среди круглых шаров кустарника красные черепичные крыши домов, и серебристые оцинкованные, и тускло-серые шиферные. За ними, положив

друг другу на плечи длинные руки проводов, стояли железные мачты высоковольтных передач, похожие на братьев-близнецов, а еще дальше, по невидимым шоссе и дорогам, катили горбатые «Победы», надменные «Волги» и пронырливые «Москвичи». Все они сбегались к мосту, который проходил над каналом в самом узком месте, там, где вставали на горизонте из воды аккуратные и почти игрушечные белые башенки первого шлюза.

Наш парходик был совсем пустой, кроме нас и еще трех-четыре человек, на палубе никого не было, и когда нам надоело стоять впереди, мы пошли на корму. По дороге она остановилась возле спасательного круга, долго смотрела на него, потом дотронулась указательным пальцем до его шероховатой поверхности и посмотрела на меня.

— Ты умеешь плавать? — спросила она.

— Умею.

— Хорошо?

— Не знаю... Средне.

— А ты смог бы меня спасти, если бы я начала тонуть?

— Наверное, смог...

Мы спустились на нижнюю палубу и, перешагивая через клубки канатов и тросов, вышли к кормовой лебедке, около которой лежал на боку чугунный четырехлапый якорь.

— Зачем такой большой якорь такому маленькому парходоку? — удивилась она. — Его можно привязать к берегу просто веревкой.

Я пожал плечами:

— На всякий случай. Мало ли что.

Она обошла якорь кругом и опять дотронулась до него указательным пальцем правой руки. Потом она провела ладонью по всем четырем лапам, попробовала остроту наконечника и снова вопросительно посмотрела на меня.

— Если бросить якорь, корабль не сдвинется с места? — спросила она.

— Наверное, не сдвинется.

— А если он не зацепится за дно?

— Должен зацепиться... Ну, хотя бы одной лапой.

— А если дно каменистое?

Я улыбнулся:

— Спроси чего-нибудь полегче.

Она тоже улыбнулась и снова провела ладонью по острому наконечнику якоря.

Мы немного постояли на корме. Винт корабля безжалостно рубил воду, и она, бурлящая, негодующая, но беззащитная, белым пенистым следом оставалась позади, будто прожитая жизнь, которая была и прошла, миновала, изрубленная и отработанная, ушла в прошлое, в архив, в мысли и воспоминания.

И волны от винта, словно два начала всякой прожитой жизни — хорошее и плохое, расходились позади нас в разные стороны, к противоположным берегам, к левому и правому, и долго просились на берег, и постепенно убеждались в неосуществимости своих желаний, и, смирившись, оставались там, где родились, — между берегами.

А сами берега с кормы выглядели уже совсем по-другому. Теперь они уже не встречали нас, а провожали, не расступались, а смыкались за нами, словно пропускали нас через какую-то свою, особую тайну, и делались все более неясными и расплывчатыми, и уходили к горизонту, и, может быть, сливались там, позади нас, воедино.

...Между тем наш парходик неожиданно изменил курс и стал приближаться к

маленькой дощатой пристани со сломанными перилами.

— Давай сойдем? — сказала вдруг она.

— Давай, — согласился я.

Когда я был с ней, я сразу соглашался со всем, что бы она ни предлагала.

Пароходик дотронулся бортом до старой автомобильной крыши и замер. С палубы на пристань перекинули зыбкий мостик, и мы перешли по нему на берег. Никто нам ничего не сказал при этом, никто ни о чем не спросил.

Пароходик отошел от пристани, развернулся и пошел обратно, в Москву, Она испуганно посмотрела на меня.

— А как же мы?

Я растерялся. Я думал, что мы погуляем немного здесь, а пароходик пройдет тем временем немного вперед, а потом повернет назад и на обратной дороге заберет нас. Но все получилось наоборот — мы вышли на берег, а пароходик пошел обратно в Москву без нас.

— О-го-го! — закричал я, сложив руки рупором. — Мы раздумали. Мы хотим вернуться!

Но капитан теплохода, вышедший на мой крик из рубки, решил, очевидно, что я просто пошутил. Он выразительно развел в стороны руки, как бы говоря, что нашей просьбе о возвращении, с его точки зрения, заключена большая ошибка и что он сам, будучи на нашем месте, никогда бы не сделал этого. Потом бравадный капитан галантно приложил ладонь к левому боку, что, по всей вероятности, должно было обозначать полное понимание и одобрение первоначально принятого нами решения. В завершение этой короткой пантомимы он отечески помахал нам своей белой фуражечкой, как бы желая сказать, что искренне надеется, что время в этих райских местах мы проведем приятно и полезно.

И пароходик ушел к месту своей постоянной приписки, в Химкинский речной порт, А мы остались с ней вдвоем на зеленом и солнечном берегу канала Москва — Волга.

Она первая пришла в себя.

— Ну и пусть, — сказала она и посмотрела на меня.

— Пусть нам будет хуже, — сказал я.

— А все-таки как мы будем возвращаться в Москву? — спросила она. — Стоять здесь и ждать следующего парохода просто глупо.

— Конечно, глупо, — согласился я. — Кроме дредноута, доставившего нас, вряд ли к этому ветхому дебаркадеру подчаливает какая-нибудь приличная посудина.

— Как же быть?

— Пешеходные дороги, — философски начал я, — всегда начинаются там, где кончаются водные. Видишь эту тропинку? Пойдем по ней, и она наверняка приведет нас к какой-нибудь железной дороге.

Мы шли долго, целых полчаса, а лес все не кончался, и не было никакой надежды понять, куда же мы все-таки движемся. Я начал догадываться о том, что мы идем параллельно каналу, но вслух высказать свои опасения боялся, так как это могло поставить под сомнение мою теорию о непременном перерастании водных дорог в пешеходные, а пешеходных — в железнодорожные.

Наконец справа между деревьев блеснул осколок воды, и мои предположения стали явью. Берег шел наискосок, перечеркивая воду, и казалось, что деревья растут прямо из воды, а на самом деле они росли, как обычно, из земли, только этого не было видно.

Она посмотрела на меня, и я почувствовал, что мой топографический авторитет пошатнулся, но в это время наша любительская тропинка сделала спасительный поворот

влево и превратилась в хорошо утоптанную, вполне профессиональную дорогу.

— Вот и поворот к станции, — уверенно сказал я, — Километра полтора осталось, не больше. По-моему, я даже слышу шум электрички.

— Знаешь что? — сказала она. — Возвращаться все равно рано. Сколько тут до Москвы?

— Километров сорок.

— За час доберемся. Пойдем, искупаемся?

В лесу было жарко и даже душно, солнце светило вовсю, и, хотя тени от деревьев были уже длинные, предвечерние, мы отправились купаться.

Она совсем не умела плавать, только немного побарахталась возле берега, потом, охая и ахая, несколько раз окунулась и стала вылезать. Я же, хотя и сказал ей, что плаваю средне, на самом деле плавал хорошо и продемонстрировал, правда понемногу, сразу несколько стилей — кроль, брасс и батерфляй.

— А ты здорово плаваешь, — сказала она, когда я вышел на берег. — Научишь?

— Конечно, научу, — сказал я.

Полотенца у нас не было, и мы, не вытираясь, оделись прямо на мокрое тело и, поеживаясь, быстро пошли по дороге к станции.

Мы прошли и полтора, и два, и все три километра, а станции все не было и не было. Неожиданно из лесу, с какой-то боковой тропинки, вышла на дорогу пожилая женщина в белом платке и поношенном ватнике. На плече у нее было коромысло, на котором она несла две большие плетеные корзины, укрытые свежей марлей и листьями смородины.

— Скажите, пожалуйста, до станции далеко? — спросил я.

Женщина опустила корзины на землю и поправила платок.

— До станции? — переспросила она. — До какой станции?

— До станции, на которой электричка, — сказала Наташа.

Женщина внимательно посмотрела на нее.

— А вы сами-то откуда будете? — спросила она.

— Мы приехали на пароходе, — начал объяснять я, — хотели погулять, а пароход ушел.

А нам нужно сегодня в Москву.

Но женщина в телогрейке вроде бы даже и не слушала меня. Она внимательно разглядывала Наташу — ее мокрые волосы, прилипшую к ногам юбку и наспех натянутую кофточку.

— Мы купались, — сказала Наташа, — думали, что до поезда близко, а теперь, оказывается...

Женщина перевела свой внимательный взгляд на меня.

— Так далеко ли до станции? — повторил я свой вопрос.

— Станция, милый человек, на другой стороне канала, сказала женщина с каким-то уверенным сожалением, будто то, что она узнала о нас после двухминутного разглядывания, совсем не соответствовало первому впечатлению, которое мы произвели на нее сначала. И в Москву вам сегодня, ребята, не добраться... Разве только что до большака дойдете, а там на машине...

— А вот эта дорога, — сказал я и постучал ногой по земле, — эта дорога куда идет?

— Эта дорога на кирпичный завод идет, — сказала женщина в телогрейке. — Прошлый год его закрыли, глина кончилась. Завод-то закрыли, а шоссе осталось.

— Неужели здесь нигде нет железной дороги? — удивленно спросила Наташа. — Сорок

километров от Москвы отъехали и попали прямо в какую-то глушь.

— Тут и сорока-то нету, — обиженно сказала женщина, — а дорогами маемся. Как дождь или грязь — сидим взаперти. В телевизор Москву видать, а добраться до нее — полный день потратить.

— А до большака далеко? — спросил я.

— Напрямую верст десять будет, а то и меньше, — сказала женщина. — Только напрямую не пройдете, болото там... А пойдите вы аккурат по этой тропочке, по которой я шла. Как дойдете до озерца, сворачивайте налево, а как лес кончится — кустами пойдете, а там луг вам откроется по правую руку. Вы, значит, луг пересекете и опять кустами, а там уже недалеко: леском, леском, версты три, через овраг — и вот он, большак-то, который из Алешина в Матюшино идет. А из Протасовского сельсовета в Тишково дороги нету, и машины не идут — мост разобрали... А как до Матюшина добрались — здесь и до станции рядом. Только с тропинки никуда не сворачивайте. Как встали на нее около озерца, так и ступайте до кустов, а кусты кончатся — луг вам откроется, а там уже рядом: леском, леском...

— А вы сами-то куда идете, тетенька? — спросила I Наташа.

— Я, милая, в Протасово иду, сродствие у меня там. А сама я тишковская... Ну, будьте здоровы, до свиданья, а то заговорила я с вами, а день-то к вечеру, и сноха меня в Протасове дожидается...

Она поклонилась нам, подняла на плечо свое коромысло с укрытыми марлей и листьями корзинками и, не торопясь, двинулась по дороге в ту сторону, откуда пришли мы, а мы свернули на ее тропинку и снова очутились в лесу и зашагали к незнакомому озерцу, около которого нам предстояло свернуть налево.

Наташа сначала шла сзади меня, а потом, смеясь, сказала, что ее могут утащить лешие или черти, а я и не замечу, и попросилась вперед. Я пропустил ее вперед, и мы сразу пошли медленнее, потому что, когда я шел первым, я шел быстро (становилось все темнее и темнее), а она все время отставала, и я ждал ее, и ей, наверное, было страшно. Поэтому она и запросилась вперед, хотя знала, что идти после этого мы будем в два раза тише, но, видно, она решила, что лучше идти медленно и ничего не бояться, чем идти быстро и все время оглядываться назад.

Теперь она шла впереди меня и почти не оглядывалась. Только иногда, когда раздавался какой-нибудь непонятный лесной скрип или шорох, треск сучьев или шум листьев, она замедляла шаг, останавливалась, поворачивала голову и вопросительно смотрела на меня, словно я был величайшим знатоком и толкователем всей ночной жизни в лесу. И поскольку она так думала, я старался не разубеждать ее в этих мыслях, и каждый раз, когда она безмолвно обращалась ко мне за объяснением незнакомого звука, я делал рукой успокоительный жест, как бы говоря, что все в порядке, что ей ничего не угрожает и что, пока я рядом, она может чувствовать себя в полной безопасности.

Сумерки еще не до конца превратились в ночь, а между верхушками деревьев уже возникло и двинулось вслед за ними еле обозначенное в сером небе бледно-лимонное пятно лунного диска. Оно было такое прозрачное, такое призрачное и нереальное, будто находилось не на своем постоянном месте старинного и привычного спутника Земли, а плавало где-то в туманных космических далях, вне нашей солнечной системы, где-то в неведомых, еще не открытых, еще недоступных ни сердцу, ни разуму галактиках.

Но чем темнее становилось в лесу, чем смелее выходили из-под кустов и деревьев

черные краски ночи, тем быстрее возвращалась луна к земле, тем надежнее, круглее и ярче становился тугой лунный диск, словно он хотел убедить находящуюся в его ведении половину планеты в том, что будет достойным преемником солнца и ни в чем не уступит своему могущественному дневному сопернику.

Тропинка петляла по лесу. Ветви колючих елей приглашали ее то вправо, то влево, и Наташа, когда попадалась какая-нибудь особо тяжелая хвойная лапа, осторожно отводила ее в сторону от своего-лица, и, задержав в руке, говорила мне:

— Лови!

И отпускала тугую ветку, и я ловил ее наугад в темноте, и Наташа тихо смеялась впереди меня, а потом шла дальше, и я шел за ней.

Лесное озерцо сверкнуло между деревьями глянцевым отблеском своей неподвижной поверхности. Луна на секунду окунулась в воду, мы свернули налево, и луна снова прыгнула вверх, на верхушки деревьев, и снова двинулась вслед за нами — близкая, круглая, пронзительно яркая и неотвязчиво преданная.

Скоро лес кончился, начался кустарник, тропинка сделалась совсем узкой, и Наташа шла передо мной всего шагах в трех, и я, глядя на ее белевшую впереди спину, как-то по-особенному, совсем незрительно ощущал ее присутствие, будто мы были с ней двумя составными частями какого-то большого и единого целого, двумя настороженными, напряженными полюсами чего-то тревожного, тяготения и взаимного отталкивания.

Это было похоже на работу гигантской электрической машины: гудят провода, искрят соединения, мерцания, отсветы, вспышки, а внутри нарастают шумы, возникает далекий гул, ширится, приближается, увеличивается, повисает над головой, на одном волоске и...

...Кустарник внезапно оборвался, я сделал несколько слепых шагов за Наташей и, почувствовав, что вокруг меня что-то изменилось, остановился.

— Что с тобой? — донесся до меня издали ее голос.

Я тряхнул головой. Гул утихал, отдалялся, меньше искрило, гасли вспышки.

— Смотри, как красиво, — тихо сказал рядом Наташин голос.

Напряжение спадало, спадало, стрелки возвращались на свои места, мерцание становилось привычнее, гасло, тускнело — щелк. Подача энергии прекратилась, и все остановилось. Замерло.

Мы стояли на краю невысокого холма. Впереди и внизу перед нами лежала огромная, ярко освещенная лунным светом безмолвная равнина. Она была так велика и тиха, что и зрительные и звуковые границы ее были почти неразличимы, исчезали, терялись где-то вдалеке, и мне показалось на мгновение, что после долгого и беспорядочного блуждания по лесу мы вышли, наконец, и стоим теперь на краю света, на том самом краю, за которым ничего нет — ни земли, ни воздуха, ни жизни.

И это впечатление особенно усиливалось и подчеркивалось множеством больших, вытянутых в длину стогов сена, которые были разбросаны по всему лугу. Они были похожи на стадо древних ископаемых мамонтов, которое вышло оттуда, из-за края земли, из небытия, и разбрелось теперь по равнине, и пасется, и щиплет траву, и медленно приближается к нам.

Стога были освещены ярким лунным светом, и это делало их какими-то особо лобастыми, бодливыми и горбатыми, а большие черные тени, падавшие от каждого стога назад и в сторону, еще более увеличивали их размеры и сходство с доисторическими чудовищами, забредшими сюда из глубины веков.

— Ты знаешь... — сказала Наташа дрогнувшим голосом и замолчала.

Я посмотрел на нее. Она была вся какая-то съежившаяся, испуганная.

— Мы не доберемся сегодня до Москвы, — сказала Наташа.

Я посмотрел вниз. Прямо под нами лежал старый песчаный карьер. Тропинка доходила до него и исчезла. И никаких признаков ее нельзя было обнаружить на лугу, хотя было полнолуние и было светло почти как днем.

Куда идти по этой бесконечной, безмолвной равнине, чтобы попасть на дорогу? В какую сторону? И ходят ли сейчас вообще где-нибудь в этом краю машины, когда так оглушительно тихо вокруг, будто все вымерло и жизнь прекратилась здесь на долгие годы?

Я молчал. Я не знал, что ей ответить. Она испугалась, она обращалась ко мне за помощью, она ждала, чтобы я опроверг ее слова, чтобы я помог ей выбраться отсюда. Но я молчал.

И тогда она сказала мне то, во что ей так не хотелось поверить.

— Нет, не доберемся, — сказала Наташа и вздохнула.

Я давно уже шел по другой, совсем не знакомой мне улице. Давно уже не было ни его дома, ни его цветных штор, ни градусника на окне. Какую он показывает сейчас температуру за теми желтыми шторами?.. Плевать мне теперь на это. Мне давно уже не нужно было ничего этого. Я давно уже перешагнул через сегодняшний день. И только память все еще продолжала лечить недавнюю рану, все еще врачевала засевшие глубоко внутри осколки того хрупкого и единственного, что так долго и так бережно нес я на руках.

Я шел по темной московской улице и не шел по темной московской улице. Я стоял на месте, но не здесь, не один, а там, далеко, на вершине высокого стога, облитого белым лунным сиянием, стоял рядом с нею. Где-то на краях равнины рождались туманы, зеленовато-пепельные в свете луны. Они бродили вдалеке, не приближаясь, окружая нас едва различимым дымчатым кольцом, а весь остальной луг, и рядом с нами, и дальше, был четко освещен ровным стальным светом, делающим долину похожей на музейный, аккуратно подстриженный газон, и сами стога были теперь уже не мамонты, а были полуразрушенные временем пирамиды, огромные искусственные сооружения, созданные десятками тысяч людей, ходивших по этой земле много веков назад. Стога были похожи на памятники — памятники чему-то далекому и забытому, которые были воздвигнуты в честь великих и древних богов, живших и любивших на этой земле совсем по другим законам и правилам.

И мы стояли с ней посреди этой вымершей страны и над нею, как пришельцы из других миров, более сложных и суровых, и думали о том, как неожиданно и безгранично щедро может быть жизнь, и удивлялись и одновременно восторгались жизнью.

...Когда мы решили остаться на этой равнине до утра, я быстро спустился вниз по карьере и побежал вперед. Я легко бежал по серебристо-прозрачному лугу, между большими стогами сена, бежал как первый человек на земле, еще ничего не знающий, еще от всего свободный, бежал, увлекаемый только одним изначальным инстинктом — инстинктом выбора гнезда для двоих.

И когда я увидел перед собой высокий и могучий, не похожий на все остальные стог-великан, я стремительно бросился к нему и почти без усилий, как на крыльях, взлетел на его вершину. И только тогда, когда я вот-вот готов был уже выпрямиться, я почувствовал вдруг, что сила, бросившая меня вверх, иссякает и что земля тянет меня к себе, назад. И,

напружинив все мускулы сразу, я вцепился в сено руками и ногами (и, наверное, зубами) и, сделав отчаянное усилие, подтянулся вверх и, прежде чем вырванные мною клочки посыпались вниз, уже встал на ноги, и выпрямился, и поднял голову, и оглянулся, как победитель.

И я увидел ее, далекую и почти нереальную, неподвижно застывшую на холме, над старым песчаным откосом, всю посеребренную невидимыми лучами холодного ночного солнца.

Я поднял руку. Она увидела меня и тоже подняла руку, а потом спустилась с холма и медленно пошла ко мне. Она медленно шла ко мне по зеленовато-прозрачному лугу, между большими, вытянутыми в длину стогами сена, околдованная светлой лунной ночью, шла как первая женщина на земле, еще ничего не знающая, еще от всего свободная, но уже властно подчиненная изначальному инстинкту — тяге к гнезду, избранному для нее другим.

И когда она подошла к моему стогу, я лег на край и протянул ей руки. И она вложила свои руки в мои руки, и я начал медленно и осторожно поднимать ее к себе, на вершину. И когда ее лицо оказалось почти рядом с моим, я снова почувствовал, как тянет меня вниз, к земле. Она притягивала меня к земле легкой тяжестью своего тела, она как бы взвешивала себя на моих руках, как бы проверяла силу моих рук, которые должны были решить, где пройдет эта ночь, где нам быть с ней сегодня вдвоем — там, внизу, на земле, или здесь, на вершине стога, ближе к небу.

И я снова напрягся, снова сделал усилие, снова напружинил все свои мускулы и, встав сначала на одно колено, потом на другое, а потом уж и вовсе на ноги, поднял ее к себе, на вершину, и поставил рядом с собой, на вершине.

Она выпрямилась, поправила юбку, подняла голову и замерла, удивленная новым видом уже знакомой ей лунной равнины, которая лежала теперь не только впереди, но и вокруг, а она стояла посреди нее и над нею. И я увидел, как где-то в глубине ее существа первоначальное удивление робко озаряется тихой радостью. И, не в силах больше сдерживать охвативших ее чувств, она взяла меня под руку и прижалась щекой к моему плечу, как это она делала всегда, когда молча хотела поделиться со мной каким-нибудь своим настроением.

И мы долго стояли так, прижавшись друг к другу, зачарованные видом лунной равнины и стогами сена, неторопливо бредущими через нее, и волнами ночного света, неощутимо и равномерно падающими сверху, всегда непонятно волнующими, всегда обещающими что-то. Нам казалось, что мы вознесены над землей высоко-высоко, что ничего нет между нами и небом — только одна огромная одинокая луна, заполняющая весь мир своим серебристым, как колокольный звон, своим пронзительно ярким светом. Мы стояли над заснувшей землей, над остановившейся планетой, над замершей на мгновение жизнью как вечный символ ее неиссякаемости, как неувядающий знак ее непрерывного и бесконечного продолжения.

И она, женским своим естеством ощутив значительность и необычность минуты, медленно повернулась ко мне и опустила голову. И я, услышав, как где-то в глубине ее существа трепетно рождается слабое и нежное волнение, медленно повернулся к ней и положил свои руки на ее плечи. Я понимал: то, что началось сегодня утром, в институте, и продолжалось весь день — и на пароходе, и в лесу, и здесь, на лунной равнине, — исчерпывается, завершается, близится к концу, но я почему-то никак не мог понять той активной роли, которая отводилась мне в этом завершении. Я словно ждал чего-то и от кого-то, словно сопротивлялся чему-то, не решаясь переступить через рубеж, отделяющий добро

от естественности. Еще сковывала мои движения робость, которая и не хотела уже быть молодостью, но и не могла еще, наверное, стать зрелостью.

А луна, в который уже раз на своем долгом веку, смотрела на нас своим древним, выцветшим от времени белым оком, освещая холодным и безразличным светом эту извечно прекрасную, трепетную паузу перед тем, как два человеческих существа, может быть, бросят свои сердца навстречу друг другу, а тем самым — на алтарь неувядаемой бесконечности земной человеческой жизни.

Луна ждала.

И я легко притянул ее к себе и прижался губами к ее губам, и она закрыла глаза, словно хотела увидеть на своем месте не меня, а кого-то другого, и я закрыл глаза вслед за ней и сразу услышал соломенный запах ее волос. И так, не отрываясь друг от друга, слитые воедино, мы медленно начали подниматься над землей, устремляясь за облака, и дальше, и выше, и долго-долго летали там, забыв обо всем, что было до нас, и не думая о том, что будет после нас, носимые и поддерживаемые в небесах какими-то невидимыми и теплыми потоками.

А луна ждала. Она терпеливо и настойчиво поджидала того, к чему привыкла за долгие годы знакомства с людьми. Луна не сомневалась. Она уверенно посылала на землю холодные волны своего ночного света и пристально смотрела вниз, без всяких сомнений надеясь увидеть, как хорошо изученные ею человеческие инстинкты и нравы легко, как скорлупки, закачаются на этих холодных ночных волнах.

А я медлил. Я чувствовал приближение этого, но мне так было уже хорошо с ней, такой хрустальной полнотой было уже до краев заполнено все мое существо, что я не хотел ничего большего, боясь расплескать остановившееся время, боясь выронить из рук и разбить эти хрупкие секунды подаренного мне откровения. Мне казалось, что сделай я хоть один шаг, хоть одно движение — и все оборвется, как перекрученная струна, все разрушится, полетит вниз, в пропасть, и навсегда исчезнут и эта сказочная лунная равнина, и эти околдованные серебристым светом стога сена, и соломенный запах ее волос, и ее губы, нежные и трепетные, как крылья далекой, непойманной бабочки.

Мне было двадцать лет, я был идеалистом, я верил всем литературным героям, которых мы когда-то проходили в школе, я не успел еще ни разу и ни в чем разочароваться в жизни, и я твердо знал, что не имею права на нее, что между мной и ею никогда не может произойти это.

Я тихо сказал:

— Надо спать...

И она, словно очнувшись от лунного сна, так же тихо повторила:

— Да, надо спать...

Я сделал в сене две небольшие ямки и сказал ей:

— Ложись...

И она легла, а я забросал ее сверху сеном, оставив открытой только голову, а потом лег рядом и сам закрыл себя сеном, оставив открытым только лицо.

— Спокойной ночи, — тихо сказал я.

— Спокойной ночи, — так же тихо сказала она.

И так мы заснули в своём большом гнезде на вершине стога — два смешных и трогательных птенца человеческого рода, заснули над миром, под луною, недоумевая перед сложностью жизни и одновременно восторгаясь ею.

И все заснуло вместе с нами — и лунная равнина, и посеребренные стога, и небо, наполненное тихим колокольным звоном. И даже земля остановила на мгновение свой бег, бессмысленный сейчас, когда те, ради кого она совершала свое вечное кружение по спирали, двое, спали в своем большом гнезде на вершине стога — спали над миром, под луною...

Я проснулся первым и не сразу понял, где нахожусь. Светало. Слабо брезжил серый рассвет. Угасающий лунный диск, снова нереальный и призрачный, был еще обозначен слабым пятном в пепельном небе, но уже все силы покинули его. Луна забывалась тусклым, старческим забытьем, сонно закрывала свое древнее, выцветшее от времени белое око. Срок ее вышел, она была уже не нужна и теперь медленно отступала перед молодым солнцем, еще не родившимся, еще не взошедшим, но уже сильным, уже дающим о себе знать. И земля, отдохнувшая за ночь, снова тронулась с места, навстречу солнцу, увлекая вместе с собой моря и горы, леса и реки, и эту равнину, и этот луг, и этот стог, на котором лежал я. Мир рождался заново, нехотя выходя из тумана, неопределенный и расплывчатый.

Я почувствовал на щеке тихое дыхание, повернул голову влево и увидел ее. Она лежала рядом, свернувшись замысловатым крендельком, уткнувшись в мое плечо. Она еще спала, и от нее веяло теплом и тем особым ароматом, который исходит даже на расстоянии от свежего парного молока. И еще пахло стриженной детской макушкой и сухим, горьковатым сеном.

Я долго смотрел на нее. Она дышала ровно, спокойно, лицо у нее было кроткое, доверчивое, иногда она улыбалась во сне и все не просыпалась.

Я вдруг попытался представить, каким могло быть ее лицо, если бы вчера все было не так, как было, а по-другому? Наверное, она бы плакала, и на щеках у нее теперь были бы видны засохшие следы слез, наверное, она спала бы беспокойно, тревожно, и в уголках ее рта появились бы маленькие складки. А что было бы со мной?

Нет, я даже не хочу об этом думать! Мне очень хорошо оттого, что все было так, как было. И я не хочу ничего другого, кроме того, что имею сейчас. Пусть она спит теплым крендельком рядом со мной, уткнувшись в мое плечо. Пусть улыбается во сне. Пусть пахнет сеном, парным молоком и стриженной детской макушкой. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне сегодня утром этого доверчиво лежащего рядом теплого человека.

Неожиданно я понял, что люблю ее по-настоящему. Где-то я читал, что если вы долго смотрите утром на спящую женщину, значит, вы любите ее. Я смотрел на нее, наверное, уже целый час. Я закрывал на некоторое время глаза, пытаюсь думать о чем-то другом, ни о чем другом не думалось, и я снова открывал глаза и смотрел на нее. Я готов был лежать так целую вечность. И мне ничего не было нужно от нее, кроме одного: чтобы она спала и чтобы я лежал рядом и смотрел на нее.

...Взошло солнце, и она сразу проснулась. Ресницы ее дрогнули и поднялись вверх.

Увидев меня, она несколько мгновений без всякого удивления смотрела мне прямо в глаза, словно надеялась увидеть меня именно на этом месте, рядом с собой.

А потом улыбнулась.

Она чуть приподнялась на локте, посмотрела на меня и положила голову правой щекой мне на сердце, так, что я видел теперь только ее волосы и маленькие соломинки, застрявшие в них.

— А ты хороший, — сказала она.

Я молчал. Молчала и она, было тихо, и слышно было только, как бьется мое сердце.

— Ты знаешь, — продолжала она сонным голосом, — мне приснился странный сон. Будто мы с тобой плыли куда-то на пароходе, а потом шли по лесу, а потом...

Она замолчала, и я подумал о том, что она, наверное, проснулась еще не до конца. И еще о том, что человеку чаще снится не то, что бывает, а то, что хотелось бы, а то, что было на самом деле, человеку снится, наверное, очень редко.

Она снова приподнялась на локте и повернулась ко мне лицом.

— А ведь мы и правда плыли на пароходе, — сказала она, — а потом шли по лесу. Ведь правда, да?

— Конечно, правда, согласился я.

— Как интересно! — тихо сказала она.

Потом она вдруг резко села.

— Дома ничего не знают, — тревожно сказала она. — Мама, наверное, волнуется, звонит в милицию, в скорую помощь...

Она встала, проваливаясь в сене, подошла к краю стога и тут же отодвинулась.

— Как высоко! — удивилась она. — И как мы только забрались сюда?

Я быстро соскользнул на землю.

— Садись на самый край, — сказал я снизу, — и съезжай. Я поймаю тебя.

Она села на край стога, заглянула вниз и подобрала ноги.

— Я боюсь, — сказала она.

— Не бойся. Я же поймаю...

И я вытянул вперед ладони.

Она закрыла глаза и упала на мои руки. Я некоторое время подержал ее на руках, а потом поцеловал в глаза — в левый и в правый.

— Нет, не надо, отпусти меня, пожалуйста, — тихо сказала она.

Я опустил ее на землю, она поправила волосы и юбку, посмотрела на стог, на котором спала и который приснился ей во сне, и мы пошли отыскивать потерянную ночью тропинку.

Она оказалась шагах в тридцати, и, когда мы снова встали на нее, мы сразу сориентировались и поняли, куда нужно идти.

Равнина, на которой стояли сметанные стога, была действительно очень большой, но теперь она уже не выглядела такой таинственной и загадочной, как ночью при лунном свете. Стога стояли только на одной ее половине, а вторая половина была еще нескошенной и совсем пустой, — видно, поэтому нам и показалось ночью, что равнина эта без конца и без края.

Теперь мы шли по нескошенному лугу. Там, где стояли стога, сильно пахло сеном, и этот запах был такой густой, что обо всех остальных запахах просто забывалось. Теперь же пахло не сеном, а землей, и тоже очень сильно.

Из-за верхушек деревьев показалось солнце. Когда мы были на стогу, мы видели его далекий восход, когда солнце поднялось еще только за лесом. Но потом мы спустились вниз, и солнце скрылось. И пока мы искали тропинку и пока, найдя ее, шли по свободному от стогов лугу, солнце от дальнего горизонта перебралось к ближнему и догнало нас.

— Смотри, — сказала она и вытянула руку к горизонту.

Я повернул голову за ее рукой и увидел большую светлую тучу, вползающую на равнину из-за леса. Издали туча не была похожа на дождевую, но за ней тянулся какой-то подозрительный шлейф.

— Будет дождь, — сказал я.

— А как же солнце? — удивилась она. — Разве при солнце бывает дождь?

— Бывает, но редко.

— Ах, да! — засмеялась она. — Я совсем забыла... Грибной дождь, да? Когда и дождь и солнце вместе? А потом быстро-быстро растут грибы...

Она еще раз посмотрела на светлую тучу, а потом на солнце.

— Дождь не захватит нас, правда? — спросила она. — Туча пройдет в стороне?

Я, как всегда, согласился с ней, и мы пошли дальше. Впереди, в неглубокой ложбинке, виднелось несколько кустов, и, когда тропинка подвела нас к ним, я увидел, что кусты растут вокруг небольшого родничка. Она присела около воды на корточки и долго смотрела на свое перевернутое отражение. Потом провела рукой по щеке, собрала волосы сзади пучком и обернулась ко мне. Я улыбнулся — мне всегда нравилось, когда она делала себе такую прическу. Она снова отвернулась к роднику, перебросила все волосы сразу на одну сторону, потом на другую. Что-то не понравилось ей в самой себе, она ударила рукой по своему перевернутому отражению, и по воде пошли круги, а она засмеялась. Потом она встала, выгнулась, потянулась и опять засмеялась, будто поняла все-все, до конца. И снова наклонилась над родником и, зачерпнув двумя руками горсть воды, плеснула себе в лицо, и еще раз зачерпнула, и еще, и еще.

Я тоже умылся, и, не вытирая лиц, мокрые и довольные, мы отправились с ней дальше. Солнце лилось на землю широким и щедрым золотистым потоком, и капли родниковой воды в ее светлых волосах были похожи на долгие-долгие искры, на ожившие солнечные брызги, и сама она, легкая, стройная и неощутимая, вся светящаяся изнутри полнотой всех богатств и всех радостей жизни, была похожа на спустившееся с неба на землю доверчивое и доброе солнце.

Неожиданно она разбросала в стороны руки и, наклонив набок голову, быстро-быстро побежала вперед. Я бросился было за ней, но потом остановился. Я понял: она почувствовала себя птицей, в ней проснулось детское ощущение полета, ощущение парения. И не надо мешать ей. Пусть летает, пусть парит над землей, пусть будет птицей.

Она бежала то вправо, то влево, наклоняла голову то в одну, то в другую сторону, и в ту же сторону наклоняла руки, держа их на одной линии. И я понял: нет, она не птица, она играет в самолет, сама управляет им и летит, куда хочет. Она не смогла больше идти по земле, где-то в глубине ее существа завертелся пропеллер, и образовалась подъемная сила, которая и подняла ее в воздух. Я знал, что у нее часто бывает такое настроение. Сама она такое настроение называла «на одной ножке».

Она сделала по полю большой полукруг и забежала мне за спину. Я остановился и, обернувшись вполборота, поджидал ее. Она подбежала ко мне совсем близко и вдруг остановилась, будто споткнулась обо что-то. Пропеллер перестал вращаться, и она опустила руки — что-то завладело ее вниманием, отвлекло от игры, к чему-то она прислушивалась. С ее лица вдруг исчезло беззаботное выражение «на одной ножке», и оно стало настороженным и странно значительным: уголки бровей поднялись вверх и сошлись «домиком», широко распахнулись глаза, и в них появилось ощущение какой-то близкой тревоги.

Я прислушался. Слышался шелест, далекий и мягкий. «Ветер, наверное», — подумал я. А она опустила вниз брови, уронила ресницы, и глаза ее сделались сосредоточенно-невидящими, пристально-безразличными, всматривающимися в никуда. Она поднесла руки к груди, подалась вперед и, чуть повернув назад голову, как-то пригнулась, словно ожидала

нападения со спины. И во всей ее нерешительной позе — в согнутых коленях, опущенных плечах, во всей ее напряженно-расслабленной фигуре было какое-то неосознанное, но уже испуганное недоумение, какой-то незаданный вопрос, невысказанная просьба.

И вдруг она посмотрела на меня жалобно-жалобно, и очень растерянно, и совсем-совсем беззащитно. Она умоляла меня молча о чем-то, безмолвно объясняла мне что-то, она бессловесно предупреждала меня о какой-то надвигающейся опасности, в приближение которой ей так не хотелось верить. Она просила о помощи, о защите. Я шагнул к ней. Она попятилась от меня. Глаза ее озарились вспышкой мгновенного ужаса, и в эту секунду на нас упал с неба теплый солнечный дождь.

Вначале мне показалось, что кто-то дотронулся до моего лица кончиками длинных и нежных пальцев, осторожно провел рукой по моим волосам, но в ту же минуту я ощутил на ладонях и на голове первые капли воды и понял, что это дождь. А она все никак не могла ничего понять, все еще верила в то, что все происходящее совершается не на самом деле, а лишь в ее воображении, и только тогда, когда начался настоящий ливень, она закрыла глаза, подняла голову и, подставив лицо солнечным потокам воды, вся прижалась к дождю, словно старалась вобрать в себя всю его теплоту и нежность, вся посвятила себя дождю, вся отдавалась ему от макушки до пяток, вся восторгалась и наслаждалась, вся упивалась этой неожиданной, неземной, подаренной небом радостью.

Потом она открыла глаза, и я увидел в них и удивление и благодарность. Она опять молча разговаривала со мной, опять бессловесно объясняла мне что-то. Она молча благодарила меня за этот грибной дождь, которого ей так хотелось, но в который она не верила и который все-таки пришел к ней. Она устало наклонила набок голову, взяла мою руку, прижала мои пальцы к своей щеке, и снова закрыла глаза, и снова вся озарилась изнутри полнотой всех богатств и всех радостей жизни — утолением, пониманием, разделенностью.

Меня лихорадило. Я вроде бы и понимал то, что происходит с ней, и вроде бы не понимал. Я вроде бы и догадывался о том, что бушевало у нее внутри, и вроде бы не догадывался. Я осторожно высвободил свои пальцы из ее руки, взял ладонями ее лицо и приблизил ее к себе. Она не открывала глаз — она ждала от меня чего-то.

И тогда я прижался губами к ее лицу и тоже закрыл глаза, словно хотел увидеть ее не здесь, словно надеялся встретиться с ней не наяву, а где-то в другом мире, в другом измерении — далеко и нереальном.

По ее щекам текли круглые горошинки дождя, и я ощущал губами их пресный и безразличный привкус.

И вдруг дождь стал соленым...

Когда я почувствовал это, у меня в первую минуту мелькнула мысль о том, что раньше я никогда не слышал о том, что грибной дождь может быть соленым. Но тут же я отодвинулся от нее и понял, что это не дождь...

Еще секунду назад я видел, как она до краев была переполнена огромным радостным удивлением, как из нее через край плескалось солнце. А сейчас... Но что же произошло? Что могло случиться за эти несколько секунд? Что?..

Я не выпускал из своих рук ее лицо. Я пристально вглядывался в ее закрытые глаза.

В ней утихала какая-то молниеносно вспыхнувшая буря, в глубине ее существа разбивались о берег и успокаивались последние волны мгновенно пролетевшего над ней урагана.

Я не заметил, сколько прошло времени. Она кончила плакать так же, как и начала, — не уронив ни единого звука. Она открыла глаза и внимательно посмотрела на меня. И не было теперь на ее лице ни растерянности, ни незащитности. Она что-то соображала, чему-то подводила итоги. Она опять что-то поняла до конца, опять укрепилась в каких-то своих, недоступных моему разуму женских выводах.

Она отвела взгляд чуть в сторону, и глаза ее снова сделались сосредоточенно-невидящими. Но теперь я уже не замечал в них ни страха, ни жалобы, ни просьбы. Она что-то решила, на чем-то остановилась. Она смотрела куда-то в сторону и вниз, но глаза ее были опрокинуты вовнутрь. Она уже ничего не рассказывала мне даже молча, она просто молча молчала. Она всматривалась в глубину своего женского естества, как всматриваются в песчаный откос морского берега, после того как с него уходят волны, и что-то видела там — очевидно, то, что увидеть была должна, как бы ни хотелось ей этого.

И она снова, уже в который раз за сегодняшний день удивила меня. Она была женщиной — молодой, неопытной, вводящей свой резерв в действие еще не сознательно, а только интуитивно, но тем не менее женщиной. Она не могла оставаться рациональной слишком долго, и на ее лицо снова вернулась улыбка. Но это опять была какая-то незнакомая мне, только что найденная улыбка, опять я увидел на ее лице совершенно новое, неизвестное мне выражение.

Сначала она все еще продолжала всматриваться в глубину своего естества, глаза ее все еще были опущены вниз, но вся она уже как-то потеплела и посветлела и стала похожа на солнечный луч, упавший на далекую воду, когда самого солнца пока не видно — для вас оно пока за облаками, — а река впереди или озеро уже приняли его и отразили в вашу сторону серебристым отблеском неярких искр.

Потом край солнца все-таки показался: глаза ее медленно и почти неощутимо шли ко мне. Они были еще на полпути, но искры с далекого озера уже бежали к уголкам ее губ.

Я по-прежнему держал ее голову в своих руках, и пальцы мои почувствовали, как вздрогнули какие-то маленькие жилки на ее висках. Она бросила на меня секундный взгляд, и уголки ее глаз встрепенулись и отпрыгнули назад, и сами глаза ее и брови стали похожи на крылья ласточки — отброшенные назад крылья ласточки, стремительно летящей против ветра.

И она улыбнулась так, как могла улыбаться только она, — распахнуто, солнечно, серебристо, каждой, даже самой маленькой грустинкой своих больших и добрых серых глаз, каждой росинкой своих омытых дождем губ, всю себя отдавая и посвящая этой улыбке, выражаясь в ней всем своим искренним и доверчивым существом.

И было в этой улыбке все, что хотелось увидеть мне, все, что прожили и пережили мы с ней за эти два дня: и понимание, и откровение, и пройденное сердцами друг к другу расстояние, и необычно постигнутая близость.

А вокруг нас по всей широкой равнине падал с голубого неба на зеленую землю солнечный грибной дождь. Он падал на землю в лучах солнца и вместе с лучами солнца, и когда мы смотрели в сторону леса, казалось, что кто-то большой и добрый хочет крепко связать небо и землю длинными серебристыми нитями, чтобы земля и небо всегда были вместе и никогда не расставались.

Небо было необычно щедро к земле — оно и поливало землю и грело ее, и никогда земле, наверное, не было так хорошо, как теперь: и в теплых лучах солнца, и под добрым,

ничего не требующим взамен грибным дождем.

Я выпустил ее голову из своих ладоней, она взяла меня за палец, и мы снова пошли вперед по мокрому лугу к лесу. Вначале мы шли быстро, потому что хотели укрыться в лесу от дождя, но потом пошли медленнее, а потом, посмотрев друг на друга, рассмеялись и пошли совсем тихо. Нам показалось смешным убежать и прятаться именно от такого дождя. Ведь обычно дождь шел тогда, когда небо было низкое и хмурое, а сейчас небо было высокое и светлое и вообще все было совсем не такое, как бывает всегда во время дождя.

Обычно дождь всегда бывает унылый и серый и идет долго и скучно, а грибной — всегда короток и весел, небо всегда все в солнце, и капли воды, еще не упав на землю и не успев повиснуть на листьях и ветках деревьев, сверкают уже в воздухе, и кажется, что это идет не дождь, а с неба сыплют алмазы.

Мы медленно шли по мокрому лугу под дождем, взявшись за руки. В согретой и сразу же политой земле уже начинали вызревать новые жизни, и их бурлящие, беспокойные соки уже оживали в воздухе новыми запахами и ароматами.

А высокое щедрое небо все падало и падало на землю серебристым грибным дождем. Я знал — тот дождь при солнце называют грибным потому, что почти сразу же после него начинают быстро-быстро расти грибы с их великими исцеляющими свойствами. Я знал, что после такого дождя грибы начинают расти скорее оттого, что во время дождя они испытывают воздействие тепла и влаги одновременно, что все дело именно в этой одновременности. Сила жизни, заключенная в тепле и влаге по отдельности, во время грибного дождя объединяется и удваивается, и именно поэтому грибной дождь — самый жизненный, самый полезный, самый необходимый. Он соединяет несоединимое — дождь и солнце. Он и светит, и греет, и утоляет жажду, и ускоряет самое главное в жизни — процесс созревания и приближения зрелости.

Именно поэтому он и бывает, наверное, так редко и только летом.

Мне почему-то захотелось посмотреть на нее.

— Наташа, — позвал я ее тихо.

Она остановилась, посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах отблески радостных слез. Нет, она не собиралась плакать — просто она по-прежнему вся была переполнена щедрым соединением несоединимых настроений и чувств, которое могло быть, наверное, выражено только так и никак по-другому.

И она опять улыбнулась, и я увидел в ее глазах грибной дождь. Тот самый грибной дождь, который падал на нас и шумел вокруг нас. Ее глаза отражали глубину ее существа, а ее существо, как огромное зеркало, повторяло все то, что совершалось вокруг нас, отражало весь мир вокруг нас и отражало его таким, каким он был на самом деле, ничего не изменяя в нём, не ухудшая и не улучшая его.

Ее глаза не согревали меня, а утоляли мою жажду и засыпали меня алмазами. Они ускоряли мое созревание, они приближали меня к зрелости, они соединяли несоединимое, то, что жило по отдельности и в ней и во мне. И еще было в ее глазах обещание чего-то единственно важного, обязательно необходимого мне, обещание жизни, и там же рядом угадывалось нечто такое, что угадывается всегда, когда все уже ясно, но тем не менее ничего не поделаешь.

Небо щедро дарило земле дождь, а Наташа смотрела на меня, и я отчетливо видел, как отражается в ее глазах этот серебристый грибной дождь, именно серебристый, а никакой другой, как бывает серебристым что-то старинное и дорогое для памяти, что-то надежное и

верное, не меняющееся с годами, что-то емкое для воспоминаний и несущее в себе точный символ неповторимости минувшего времени.

...Мы подошли к лесу, и дождь начал постепенно стихать. На самом краю равнины лежал неглубокий овраг, на дне его светлел ручей. Она сняла туфли, подобрала юбку, попробовала пальцами воду и тут же отдернула ногу, и, обернувшись, вопросительно посмотрела на меня. Я подошел к ней, взял ее на руки, и она обняла меня рукой за шею, положила мне голову на плечо, а потом поцеловала в шею, чуть ниже уха. Я стоял перед самым лесом, нас разделял только ручей, она лежала у меня на руках — мокрая, притихшая и теплая, — и я не двигался с места.

И, может быть, можно было тогда еще все исправить и все повернуть по-другому (и вся моя будущая жизнь сложилась бы иначе, и не было бы тех исканий по кругу, и ошибок, и долгих горьких раздумий, и приступов отчаяния, и бессонных ночей, и забитых окурками пепельниц, и разорванных неотправленных писем, и, может быть, мне никогда не пришлось бы стоять под окнами его дома и смотреть на разноцветные шторы на окнах его квартиры).

Я словно предчувствовал, что впереди у меня будет все это. Я приподнял ее еще выше и крепко прижал к плечам и шее. И она, все поняв, закрыла глаза и съежилась теплым комочком у меня на руках. И ничего не было в ту секунду между небом и землею, кроме нас двоих и солнечного грибного дождя, который постепенно утихал и становился все слабее и слабее. И снова готова была вздрогнуть земля, снова готова была остановиться на мгновение древняя планета, пораженная разгадкой еще одной своей тайны.

Но кто-то тронул меня в ту секунду за плечо.

Я обернулся.

Никого не было.

Но я понял — это судьба, та самая судьба, которая была так щедра ко мне в эти последние два дня...

И я бережно перенес ее через ручей и опустил на землю, опустил для того, чтобы много-много дней спустя она ушла от меня по бульвару Ленинградского шоссе к нему, в его дом, в его квартиру с разноцветными желто-голубыми и желто-красными шторами на окнах.

Но тогда я ничего не мог с собой сделать. Она была не моя жена. И я ничего не мог с собой сделать.

Это крепко сидело у меня в голове. Это было вколочено в меня всеми двадцатью годами моей прожитой жизни. Она была не моя жена, и поэтому она была беззащитна предо мной. Я еще ничем не сумел защитить ее от жизни и поэтому не мог поднимать на нее руку, не мог нападать на нее.

— Все равно ты самый хороший, — сказала она. — Ты настоящий.

Я посмотрел на нее и увидел в ее глазах серебристый грибной дождь, тот самый, после которой быстро начинают расти грибы. Он уже кончился вокруг нас, щедрость неба к земле уже была исчерпана до конца, а в ее серых глазах он все еще оставался, все еще связывал небо и землю длинными серебристыми нитями, соединяя их воедино и навсегда тревожными искрами радостных слез.

И мне ничего не было нужно тогда от нее, кроме этих больших серых глаз с их серебристым грибным дождем, которые каждый раз и грустно и весело удивляли меня своей неповторимостью, которые каждый раз заново открывали передо мной весь мир.

Я хотел от нее только одного: чтобы грибной дождь, и эти два дня, и лунная равнина, и длинные стога сена — чтобы все это оставалось в ее глазах навсегда и чтобы все это в ее

глазах мог видеть только один я.

И, кажется, это мое желание сбылось.

...Мы вошли в лес. После дождя и в косых лучах молодого утреннего солнца он был каким-то особенно золотистым и зеленым, и как-то по-особенному глубокими и резкими казались тени деревьев, и по-особому пахла мокрая хвоя и кора берез, и мягче была земля, и сочнее трава, и ярче цветы, и звонче и радостнее пели птицы, которые во время дождя прятались под листьями, а теперь сидели на ветках, и сушились, и распевали во все горло.

Да, в лесу было и золотисто и зелено, и тихо падали с листьев на листья последние капли отшумевшего дождя.

С тех пор прошло несколько лет. Много изменилось за эти годы, но больше всего изменились, конечно, мы сами — и я, и она, и он. Она вышла за него замуж, и у них родился сын. Счастлива ли она? Не знаю. Иногда я вижу ее, она и грустит и смеется, а мальчик похож на нее, и в глазах у него все тот же серебристый грибной дождь.

Я иногда заезжаю к нему — мы с ним друзья, и он давно простил мне все, и я давно простил ему все, и тогда, в институтской раздевалке, когда его, окровавленного, принесли из зала и пришел парень из партбюро, он не кривил душой, когда сказал, что он споткнулся сам и что я почти совсем не виноват во всем случившемся.

Наши знакомые считают, что мы друзья не только с ним вдвоем, но и все трое — он, я и она. Мы иногда даже ходим втроем, в кино, хотя по поводу такой дружбы можно или только грустно улыбаться, или вообще ни над чем серьезно не задумываться.

Иногда они, как и всякие муж и жена, ссорятся, и тогда она звонит мне по телефону, и начинает издали — как живешь? как работаешь? почему до сих пор не женился? А потом просит с ней встретиться, и я назначаю ей свидание, как в старые времена, где-нибудь на площади под часами, и мы идем с ней в ресторан — посидеть и погрузиться в полутьме за столиком с настольной лампой, и пьем какое-нибудь легкое вино, и слушаем музыку, и вспоминаем институт и баскетбол, и подъезд ее старого дома, и сам дом, которого теперь уже давно нет, потому что его снесли, а на его месте построили новую станцию метро, и она говорит мне, что если бы она сейчас жила не в своем старом доме, а где-нибудь поблизости, и если бы я по-прежнему провожал ее, и мы по-прежнему стояли бы в подъезде, то мне не нужно было бы потом возвращаться домой пешком через весь город, как я это делал когда-то, а можно было бы уезжать домой на метро, и что для этого нужно было бы стоять не так долго, как мы стояли когда-то, а лишь до половины первого ночи, только и всего.

Я знаю, что о каждом таком вечере — и о том, где мы встретились, и в какой ресторан ходили, и о чем разговаривали, — обо всем этом она потом рассказывает ему. Прощается внизу со мной, поднимается на третий этаж и рассказывает. (Видно, таковы уж все женщины, и она — не хуже и не лучше многих.) И он никогда не обижается на нее за то, что она была со мной (потом, при следующей встрече, она мне тоже рассказывает, как он слушает все это). Он не обижается на нее за то, что она бывает со мной, наверное, потому, что я как-никак — друг дома, старая любовь и вообще лицо вполне конкретное, а это всегда лучше, чем что-либо новое, неопределенное, и чреватое.

Зимой, по воскресеньям, мы иногда отправляемся все втроем за город, кататься на лыжах. Мы долго едем в электричке с какой-нибудь веселой студенческой бражкой, поем песни, рассказываем анекдоты и вообще дурачимся, а потом вылезаем на маленькой станции среди холмов и оврагов и отправляемся искать самые крутые спуски и обязательно с

трамплином, потому что трамплины любит она, а мы вообще почти не катаемся, а только стоим под горой и смотрим, как она в синем лыжном костюме и красной вязаной шапочке лихо скатывается вниз, подпрыгивая на всех бугорках и трамплинах.

Потом она забирается на новую гору, еще более высокую и крутую, а мы все стоим внизу, и он вынимает из рюкзака бутылку коньяка и домашние котлеты, и мы не спеша распиваем ее, не забывая оставить и ей «на доньшке», и он ведет со мной наукообразные разговоры о последних моделях вычислительных машин, о полетах наших космонавтов и о том, как он будет на будущей неделе читать в Обществе по распространению лекцию о новой науке — бионике, смысл которой заключается в разумном копировании живой природы. (Он вообще часто читает лекции — ведь он давно уже доктор наук и доцент, да и я давно уже кандидат и без пяти минут старший научный сотрудник.)

Потом она спускается с последней горы, и, так как выше и круче гор больше не остается, мы допиваем остатки коньяка, доедаем домашние котлеты, и на этом наша лыжная вылазка благополучно заканчивается.

Вечером мы возвращаемся домой все в той же электричке и все с теми же студентами, которые теперь уже не острят, не поют и не бренчат на гитарах, а спят вповалку, привалившись друг к другу, как доски покосившегося забора. И она тоже, сидя между нами, дремлет, клонясь то к его, то к моему плечу, и, просыпаясь на остановках, виновато смотрит то на меня, то на него и сонно улыбается.

Потом я провожаю их до самого дома, и они иногда приглашают меня зайти выпить стакан чая. Иногда я захожу, пью чай, смотрю телевизор и играю с ее сыном, если его не уложили в кровать еще до нашего прихода, но в общем-то стараюсь не задерживаться, прощаюсь с ней (она всегда улыбается мне в прихожей и дарит на дорогу кусочек своего серебристого грибного дождя, маленький-маленький кусочек — одну капельку), прощаюсь с ним (он всегда грубовато, по-мужски, похлопывает меня по плечу и на правах старой дружбы подмигивает мне, как бы говоря, что, мол, такая уж хитрая штука жизнь — кому-то надо уходить, а кому-то оставаться, нельзя же все время быть втроем, и я ухожу).

Я иду по улице к станции метро «Динамо» и думаю: жалею я сам о том, что он остается, а я ухожу? И сам себе отвечаю: и да и нет. То, что было у него с ней, лучшей своей частью уже позади, уже в прошлом, а у меня это к ней — вечно. У меня к ней это будут долгие-долгие годы, и никогда не умрет и не будет разменяно ни на какие мелочи — ни на житейские неурядицы, ни на невзгоды быта, ни на поздно обнаруженное несходство характеров, ни на что другое.

Ее тайна осталась для меня не открытой, я не сумел разгадать ее женскую загадку до конца, но она дала мне нечто большее — она дала мне возможность услышать в своем сердце такую песню, какую судьба готовит услышать не каждому. А это — много, это очень и очень много в наше чересчур богатое мыслями время.

Я знаю, что когда-нибудь я и женюсь, и что с другой, земной женщиной, у меня будут дети, все земное. А с ней было и будет только это. Наверное, у каждого человека есть или, во всяком случае, должно быть что-то похожее, может быть и не всегда реальное, но без этого нельзя.

Когда-нибудь в будущем, когда пройдет время и я смогу оглянуться на свою жизнь более мудрым взглядом, я расскажу обо всем этом своему сыну и, может быть, даже попробую передать ему понимание ценности и необходимости всего этого. И если это получится, то, может быть, и мой сын передаст это своему сыну, и все вместе мы попытаемся сохранить

это и научить этому других в наше суровое, в наше чересчур богатое мыслями время, когда все меньше и меньше остается неразгаданных тайн и идеалы сердца кое-где уже начинают отступать перед трезвыми выкладками ума.

И хотя я иногда ругаю себя за то, что из-за поздно пришедшей житейской зрелости, из-за позднего усвоения законов жизни и своей неподготовленности к борьбе я не сделал в свое время решительного шага и потерял, может быть, единственно необходимого мне в жизни человека, — хотя я иногда и ругаю себя за все это, в общем-то я не чувствую себя неустроенным и каким-то несчастливым в жизни человеком. Я работаю, и работаю неплохо, меня все время куда-нибудь избирают — то в местком, то на разные конференции; кое-чем я увлекаюсь — рыбалкой, например, своим мотоциклом; есть у меня товарищи, друзья, есть знакомые девушки, вернее, женщины, которые мне чем-то симпатичны; я по-прежнему люблю баскетбол, но, конечно, сам уже не играю, а только езжу «болеть», особенно если приезжают какие-нибудь интересные иностранцы, и можно вдоволь накричаться и наволноваться за своих.

Конечно, кое-чего в жизни мне все-таки не хватает. Теперь-то я уж стал взрослым и отлично понимаю — чего именно. И когда я начинаю думать об этом, я, конечно, вспоминаю ее. Почему мне не удалось тогда добиться ее? Почему она стала женой другого, а не моей?

Может быть потому, что все шло у меня в жизни просто и гладко, детство мое было объявлено счастливым, и, в общем-то, никогда мне всерьез не приходилось туго, может быть, только во время войны, но тогда я был мальчишкой.

Я вырос почти без всяких бурь и потрясений, и у меня, пожалуй, ни разу не было ни возможности, ни необходимости отнестись к жизни как к борьбе, как к преодолению чего-то, и моя первая любовь стала, по сути дела, моим первым серьезным испытанием, первым напоминанием о том, что и после счастливого детства перед человеком могут возникать высокие барьеры и что эти барьеры могут остаться в твоей жизни так и непреодоленными.

Впрочем, когда я думаю об этом слишком долго, мои сложные невеселые мысли постепенно сменяются более простыми. Да, что-то еще не случилось, не сладилось в моей жизни, не пришло еще что-то по-настоящему взрослое, требующее реальной, мужской ответственности, но зато нет места в моей памяти ни чему такому, что отягощает совесть, что напоминает о нравственной вине по отношению к кому-то, а есть место только большому, светлому и чистому; и, может быть, не так уж и плохо, что я был тогда таким наивным и неопытным мальчишкой, увлекающимся спортом и имевшим в числе своих активных поступков только медаль за окончание школы. Может быть, это и к лучшему, что несмотря на то что он был на двенадцать лет старше меня и зримо продемонстрировал передо мной преимущество своего отношения к женщинам — слегка циничного и жуанистого, — может быть, это было и к лучшему, что я остался верен самому себе и тем обстоятельствам, в которых первоначально сложилась моя судьба.

Конечно, если положить руку на сердце и по-человечески быть откровенным до конца, я не могу сказать, что вообще никогда не жалею о том, что судьба навсегда развела меня с нею. Но я твердо знаю — эта потеря не прошла для меня даром, она была и моим становлением, и, потеряв ее, я стал и мудрее, и сразу старше, и вообще приобрел опыт. Грустный, правда, опыт, но что поделаешь. Истинное знание всегда было следствием преодоленных препятствий, если не страданий, а в ту ночь, на лунной равнине, и потом утром, когда шел дождь, сердце мое преодолевало препятствие плоти, и я действительно

страдал тогда, когда мы шли с ней из зоопарка по Большой Грузинской, и когда она ушла потом от меня по Ленинградскому проспекту к нему, к стадиону «Динамо». Я страдал тогда по-настоящему, глубоко и сильно, и не умом, а сердцем, но в то утро, на нескошенном лугу, когда сметанные стога остались позади и мы шли с ней по высокой нескошенной траве, и пошел дождь, в то утро мое сердце не дало мне вырваться на простор инстинктов, мое сердце победило мою плоть, и, хотя я чувствовал, что теряю ее, я все равно ничего не мог сделать с собою и со своей убежденностью в том, что, пока она не моя жена, я не имею на нее никакого права, что, пока я не защитил ее от жизни своим именем и своим твердым отношением к ней, я ничего не могу брать от нее, не могу нападать на нее, ждущую от жизни только добра и справедливости.

Да, я потерял ее именно в то утро. Именно в то. Но все равно — я ничего не мог тогда с собой сделать. И я догадывался, я знал об этом уже в то утро, несмотря на всю свою неопытность и наивность. Но все равно — ничего не было в моей жизни лучше, чем то утро. Оно осталось в моей памяти как самое сильное впечатление, как самое чистое воспоминание моей жизни, и никогда не изгладится след, который оставило во мне это утро — светлое, и прозрачное, и неповторимое, как то прозрачное видение нереального, но прекрасного, которое дается каждому, наверное, не более одного раза в жизни и которое, завершая изначальные испытания, а порой и страдания, в конце концов приводит к большому человеческому знанию и пониманию истинной красоты и назначения жизни.

И еще в то утро, когда шел грибной дождь, после которого быстро-быстро начинают расти грибы, когда небо и земля были связаны воедино длинными серебристыми нитями, — и еще в то утро я сделал открытие. Люди должны быть добры друг к другу, особенно если это он и она, и особенно если кто-то из них по-настоящему любит другого. Люди должны дарить друг другу красоту равных возможностей и равных обязанностей. Что из того, что она была женщиной и я имел перед ней преимущество, хотя бы чисто физическое? Я не взял у нее тогда на стогу и потом утром больше, чем мог дать ей, дать по самому большому человеческому счету, а вести мелкий счет в отношениях с тем, кого любишь, не стоит, наверное, никогда.

И пусть она ушла из моей жизни — все равно она осталась в моей жизни. Она осталась в том лучшем, на что я способен, она осталась в несовершенном, но в возможном для меня, а следовательно, она осталась и во мне самом, так как сознание несовершенного является неотступной думой всякого человека о самом себе.

Она осталась в моих желаниях, а это значит, что она осталась во мне навсегда, потому что человек не может жить дольше своих желаний и только до тех пор, наверное, по-настоящему ощущает себя человеком, пока сохраняет способность хотеть и желать что-то.

А ведь все могло быть и по-другому, и я мог обокрасть самого себя, мог невозвратно ограбить свое сердце, и она могла навсегда уйти из моей жизни в ту ночь прямо с вершины стога, и я не знаю — был бы я больше счастлив, если бы тот день прошел по-другому, если бы луна все-таки настояла на своем и она сейчас бы была вместе со мной. Я смотрю на него. Я не могу назвать его человеком, удовлетворенным жизнью. Он чем-то недоволен, чем-то мается, жалуется на отсутствие новизны. И может быть, все это оттого, что у него с ней все началось именно с этого. Он выпил ее сразу и залпом, не успев даже как следует разглядеть и понять ее, нарушив тем самым великий и естественный закон, который не разрешает торопить мгновение, если оно показалось тебе прекрасным.

У него с ней все сразу началось с этого, хотя он знал ее совсем недолго. Он сразу

похоронил свои большие отношения с ней, сразу закопал их в землю, насыпал сверху холмик и воткнул сверху крест. Он сразу обнажил свои отношения к ней до физиологической ясности, он сразу исключил постепенное узнавание ее новизны из сферы своих активных интересов. Не зная еще всего богатства человеческой клавиатуры, он сразу взял самую высокую ноту, и внутренняя струна их отношений оборвалась, по-моему, в самом начале, и ему, наверно, нужно было сразу прекратить с ней все, а он еще взял и женился на ней, то ли из жалости, то ли, что еще хуже, из приличия, и они стали жить вдвоем около своего могильного холмика, как в пустыне, внешне приличной, а внутренне опустошенной, скучной жизнью, иссушая друг друга отсутствием настоящего чувства, усугубив свою ошибку еще и рождением ребенка, в которого никто из них обоих не вложил того, что является лучшей наследственностью и за что человек бывает больше всего благодарен своим родителям: большой, настоящей любви друг к другу.

Да, он добился ее сразу и, не пощадив, «уничтожил», а я буду идти к ней через нескошенный луг, через лунную равнину долго-долго, всю жизнь, и всю буду догонять ее и отпускать вперед, буду находить ее и терять ее, и все время буду видеть ее впереди себя, через серебристый грибной дождь, как видел ее в тот день, когда, вся в солнечных брызгах, она то убегала от меня, то возвращалась, когда я впервые стал догадываться, что начинаю терять ее, и тем не менее не в силах был ничего изменить, и мучился от этого, и страдал, и познавал через все это жизнь, и это была моя победа.

Да, тот день, без всякого сомнения, был лучшим днем моей жизни. Он до краев был наполнен и любовью и мукой, и никто не в силах был изменить эту пропорцию, и ничего не могло быть ни больше, ни меньше — ни счастья, ни горечи.

С такими мыслями я обычно и возвращаюсь домой после наших лыжных прогулок вдвоем. Я раздеваюсь, ложусь и закрываю глаза, и, хотя за окном зима, передо мной медленно проносятся видения освещенных летним солнцем лесных опушек, и нескошенные луга, и далекие хвойные леса, и зеленые поляны, и белые березы, и длинные стога сена, и летящие над полями сквозь сиреневую цветочную пыльцу бабочки и стрекозы.

И серебристый грибной дождь бесшумно идет перед моими закрытыми глазами в косых лучах поднимающегося над землей солнца, и небо протягивает земле свои серебристые руки, и земля нежно прижимается к небу теплыми, трепетными потоками прозрачного восходящего воздуха.

И я вспоминаю, как мы плыли с ней по каналу на пароходе, как нас обдувал молодой и упругий ветер, как оставались позади нас зеленые дремлющие берега и как, сверкая белыми коленями, бежали с холмов к воде березы и смотрели нам вслед, неподвижно стоя на берегу, а на берег просились волны...

Я вспоминаю о том, как мы купались с нею, как блестела вода у нее на плечах, и о том, как мы шли в сумерках по лесу, а тропинка сворачивала то вправо, то влево, и она задерживала в своей руке тяжелые хвойные лапы и говорила мне «лови», и отпускала тугую ветку, и я ловил ее наугад, в темноте, и она тихо смеялась впереди, а лес все не кончался...

Я вспоминаю о том, как мы вышли к большой и безмолвной лунной равнине, и как была она похожа на сказочную вымершую страну, и как я бежал между посеребренными стогами сена, и как шла между посеребренными стогами сена она, и как я стоял на вершине стога и смотрел на нее сверху, а вдалеке бродили туманы...

И стоит мне только подумать обо всем этом, как передо мной сразу же возникает ее навсегда дорогое для меня лицо. Оно встает передо мной таким, каким оно было тогда,

когда в косых лучах восходящего над землей солнца пошел серебристый грибной дождь.

И, успокоенный этим прекрасным видением, весь в серебристых брызгах и радужных солнечных разводьях, я медленно поднимаюсь над землей и улетаю за облака, и еще дальше, и выше, и долго-долго витаю там освобожденный от действия тяжелых земных законов, носимый и поддерживаемый в небесах какими-то теплыми и невидимыми потоками.

И я счастлив.

И не все ли равно — сплю я уже в это время или еще нет.